

Американская История

“Книгу *Американская история* следует признать поистине выдающимся русским романом последних десятилетий.”

~ *Капитал Страны*



Анатолий Тосс

Анатолий Тосс

Американская история

«Анатолий Тосс»

2011

Тосс А.

Американская история / А. Тосс — «Анатолий Тосс», 2011

ISBN 978-5-905356-01-8

Может ли человек преодолеть себя и подняться над собой? И достичь мечты... Что он теряет при этом, что находит, и что, в конечном итоге, перевешивает на чаше весов: приобретения или потери? А любовь? Не является ли она сама неизбежной потерей? Ведь в конечном итоге, все когда-то подходит к концу... И как оценить то, что ты отдаешь своей любви, и то, что получаешь в ответ? Все эти, да и многие другие вопросы стоят перед главной героиней романа «Американская История». А ответы? Может быть, они подойдут читателю, а может быть, лишь заставят задуматься... В любом случае помогут разобраться в себе. Книга представлена в новой авторской редакции.

ISBN 978-5-905356-01-8

© Тосс А., 2011

© Анатолий Тосс, 2011

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	8
Глава третья	17
Глава четвертая	22
Глава пятая	25
Глава шестая	32
Глава седьмая	38
Глава восьмая	41
Глава девятая	44
Глава десятая	50
Глава одиннадцатая	54
Глава двенадцатая	56
Глава тринадцатая	60
Глава четырнадцатая	63
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Анатолий Тосс

Американская история

Посвящается маме

Глава первая

Последнее время я заметила за собой некую странность – у меня появилась потребность быть одной, хотя бы иногда, хотя бы недолго. Я попыталась разобраться, почему она возникла, и решила, что, может быть, желание одиночества, во всяком случае временного, отчетливее проступает с возрастом. А может быть, все проще – я слишком много на виду, слишком много людей вокруг меня, и это утомляет, и я устаю, и мне надо вернуться к самой себе, чтобы собраться и заново оценить, что важно и почему, чтобы снова продолжить именно с этой постоянно меняющейся точки отсчета. И потому, наверное, что расписание мое забито встречами, телефонными разговорами, коллегами, пациентами и другими очень важными людьми и делами, да, поэтому, наверное, единственное место, куда я могу от всего ускользнуть, это ванная комната.

Ведь действительно странно, что именно ванная и есть самая изолированная часть любого жилого помещения, изолированная от взгляда, от звука, от всего, что и определяет подслушивающий, и подглядывающий за тобой, и, в любом случае, отвлекающий внешний мир. Даже вода из крана, кажется, для того и предназначена, чтобы растворить в ритмике своего шуршащего напора упрямо прокрававшиеся извне звуки.

Сначала мой взгляд ловит блестящую поверхность зеркала и останавливается на себе, а потом поглощает и все остальное лицо, к которому я за столько лет все еще не привыкла, которое все еще вызывает мое удивление, но которое, я уже уговорила себя в этом, и есть *Я*.

Неужели, думаю я, надувая левую щеку, чтобы рассмотреть вот такую ее новую форму, а на самом деле сгладить морщину у носа, неужели это отражение и есть я. Неужели это немножко удивленное выражение, как бы слегка смеющийся взгляд, эта едва заметная горбинка на носу и чуть-чуть припухшая нижняя губа и определяют меня в представлении других. И почему, если это так, они никак не связаны со *мной* в моем сознании.

Не странно ли, что посторонние ассоциируют меня именно с этим изображением в зеркале и даже относятся ко мне лучше или хуже, в зависимости от того, нравится оно им или нет. Тогда как для меня оно, в общем-то, не очень знакомое, а иногда даже чужое и уж точно никак не ассоциируется со *мной*. Ведь это парадокс: я вижу свое лицо, которое как бы и есть *Я*, значительно реже, чем многие другие люди, только в зеркале, чаще по утрам, да и то когда хватает времени, а это значит, что те, другие, знают и разбираются в деталях меня лучше, чем я сама.

Но я-то знаю, что я не связана с этим лицом, не упрощена до его примитивной трехмерной формации, – как ему, бедолаге, выразить *меня* своим ограниченным набором мимических средств, когда даже мое, куда более сложное сознание не берется за такую обременительную работу.

Ну, это ты уж загнула, обрываю я себя, при чем здесь сознание? И вообще, зачем так сложно, с собой не мешает быть попроще. Перед кем выпендриваешься? Рядом-то никого нет. Да, вздыхаю я, как бы оправдываясь, вот что привычка вытворяет с человеком. Даже поболтать со своим отражением по душам не удастся – все равно как будто лекцию читаю. Какая-то ты, подруга, поучительная вся стала.

Впрочем, взгляд не отвлекается на словесное кокетство, а продолжает методично внедряться в черты лица. Может быть, снова думаю я, мое лицо такое чужое для меня, потому

что оно всего-навсего персональный инструмент, устройство, изнутри которого я наблюдаю за миром. Вот и получается, что мне ни к чему видеть его со стороны, главное – умело пользоваться.

Я смотрю на себя внимательно, скорее с любопытством, как будто пытаюсь найти что-то, о чем еще не знаю. Неужели, думаю я, мне скоро тридцать пять? Странно, я не чувствую себя даже тридцатилетней, так, может быть, лет на двадцать семь, двадцать восемь потяну, но не больше. Почему-то я по-прежнему ощущаю себя совсем девчонкой, и мне приходится постоянно контролировать себя, чтобы не выдать и так не очень прячущуюся несолидность: не засмеяться уж очень громко или не сморозить что-нибудь совсем легковесное в разговоре. Я должна постоянно заставлять себя выглядеть и звучать солидной, хотя, конечно, не такой уж совсем занудливо солидной, как все остальные. Но это уже персональное мое, стиль.

Ан нет, я вглядываюсь в себя внимательнее, все-то ты хорохоришься, а посмотри, вот новая морщинка под глазом, и кожа на лбу не такая уж гладкая, и вот здесь на шее тоже что-то пытается оттопыриться, и хотя пока незаметно еще, только при ближайшем рассмотрении, но все же. Интересно, что сказал бы Марк, если бы мы увиделись, вернее не сказал, а подумал, но я все равно бы, конечно, различила.

Ладно, я теперь начинаю утешать саму себя, подумаешь, тридцать пять, ему самому было столько же, когда мы познакомились четырнадцать лет назад. Четырнадцать лет – ведь это немало, снова удивляюсь я, и удивляюсь искренне, потому что не могу как абстрактную бесконечность, вместить этот временной промежуток в свое ограниченное понимание.

Марк. Почему стоит мне подумать о нем, мое настроение меняется-я грустнею. Почему когда я думаю о нем, когда закрываю глаза или просто расслабляю взгляд и слышу его голос, спокойный и даже иногда холодный, какая-то нелепая пружинка начинает закручиваться глубоко внутри меня, где-то там, где начинается дыхание, и я чувствую растерянность.

– Я, конечно, все еще люблю его, – говорю я вслух, чтобы слова попали в самые мои зрачки.

Наверное, я люблю его совсем не так, как раньше, когда мы были вместе. После всего того, что произошло, я не могла не измениться, как и не могло не измениться мое к нему отношение. Тот почти мистический образ, почти беспрекословно святой и в то же время родной и домашний, который он создал в моем сознании, рассыпался, превратился в труху, в пыль.

Конечно же, я не могу чувствовать и думать о нем так, как я чувствовала и думала тогда. Конечно, любовь моя изменилась. Стала ли она сильнее от утраты или слабее от злой памяти и прошедшего времени? Не знаю, не думаю.

Любовь ведь не ручка шкалы изменения громкости на приемнике: двинешь вправо – звук становится громче, налево – звук становится слабее. Нет, любовь не изменяется ни по горизонтали, ни по вертикали. Изменяясь, она переходит в другую плоскость.

Не помню, кто именно сказал известное: «от любви до ненависти один шаг», а Наполеон, это-то я знаю точно, добавил: «как от великого до смешного». Но что, если этот шаг выродился в точку, в мгновение, в биение сердечной мышцы?

Что, если любовь и ненависть, великое и смешное, божественное и низменное – все слилось воедино и, слившись, бесконтрольно перемешалось друг с другом? Да, я люблю его, повторяю я, и зрачок мой в зеркале привычно сужается до размера игольного ушка. Но я и ненавижу его. Да, пусть так, я по-прежнему боготворю его, но также и презираю. Я знаю, я обязана ему всем, чего добилась, знаю, что он жертвовал временем, не просто временем – годами, своим творчеством, энергией, своей душой, в конце концов. И я неизменно буду благодарна ему за это.

Но в то же время, когда я говорю себе, что стояло за этими жертвами, когда я понимаю, что каждый шаг, каждая фраза, каждый взгляд его были направлены только на то, чтобы при-

вести его к цели, цели, продуманной и просчитанной с самого начала, моя наивная благодарность растворяется в беспомощном и оттого еще более яростном презрении.

Хотя, спрашиваю я себя, была ли его любовь, его чувства ко мне, были ли они так же фальшивы и расчетливы и так же заранее просчитаны, как и конечная цель? Нет, отвечаю я себе.

Я думаю, что нет, я знаю, что нет. Я верила в это тогда, и, самое смешное, продолжаю верить сейчас. Это-то все и запутывает окончательно.

Впрочем, почему бы и нет, почему бы моим чувствам не быть такими же запутанными и противоречивыми, как и сам Марк? Не являются ли чувства, испытываемые к человеку, пусть субъективным, но отражением этого человека? Я представляю головоломку, мозаику, состоящую из тысяч деревянных раскрашенных кусочков, каждый неправильной формы, из которых, если их верно сложить, получается цельная картинка. Так и он сам, так и мои чувства к нему. Только поди сложи эти разноцветные кусочки.

Глава вторая

Записки мои не об этом, и потому лишь упомяну: я уехала из России в возрасте девятнадцати лет. К тому моменту как я познакомилась с Марком, я жила в Бостоне уже два года, одна, без родителей, так как они решили остаться в Москве.

Я встретила Марка на вечеринке, куда меня пригласили мои студенческие друзья и где собрался разношерстный народ, в основном незнакомый друг другу.

Я позвала с собой Катьку, свою еще московскую подружку, с которой мы однажды встретились случайно в Бостоне и, узнав друг друга, притянулись и стали близки, подпитывая дружбу общим прошлым и, главное, общим настоящим. По московской привычке, я звала ее не Катя, а Катька, так же, как и она звала меня Маринка вместо Марина, и эта фамильярность, кажущаяся естественной для нас обеих, но не позволительная ни для кого другого, дополнительно подчеркивала нашу близость.

Катька была восхитительно рыжей и я бы даже не сказала высокой, а скорее величественной, более того, роскошной, с крупными формами, отточенными чертами лица и завораживающими глазами, полными переливающейся лазурной прохлады. Не то чтобы она совсем не была заиклена на своей красоте, о которой ей не давали забывать ни разрывающийся от звонков телефон, ни взгляды мужчин на улице, но относилась к ней скорее спокойно и как бы даже философски, типа: «Ну что ж теперь, если уродилась такой?»

Вообще любой человек, одаренный от Бога талантом – а природная красота – это тот же талант, как, скажем, красивый голос или абсолютный слух, – пусть даже не желая того, пусть подсознательно, но талант свой пестует, пытается выставить наружу, как любой нормальный человек хочет продемонстрировать свою самую сильную сторону. При этом, как правило, делая упор на выдающемся качестве, постоянно культивируя его в себе, зачастую талантливый человек приносит в жертву другие свои качества, не обращая на них должного внимания, запуская и, более того, часто эксплуатируя их ради того единственного большого, на которое он сделал ставку. И это обидно, потому что гармония отступает под напором однобокости, и человек подсознательно закичивается на своей так бережно взлелеянной способности.

Так же и с красотой, даже не так же, а хуже. Потому что она больше зависит от времени и быстротечнее любого другого человеческого свойства. К тому же она постоянно на виду, ее не спрячешь за фасад ни новой профессии, ни увлечения, и оттого не можем мы простить ее потерю тем, кто когда-то был ею награжден. Именно поэтому, наверное, так философски печально нам встречать людей, не удержавших ее, – мол, вот что делает с человеком жизнь.

Но Катька, будучи в целом небезучастной к своей красоте, подходила к ней как бы снисходительно, свысока, не позволяя той доминировать над собой. Этот ее постоянный ироничный подход, как к себе, так, впрочем, и ко всем другим, граничащий иногда с чисто московским цинизмом, и был тем ностальгическим магнитом, который, помимо прочего, притягивал меня к ней.

В Москве она училась в университете на юридическом, но здесь идея профессиональной карьеры представилась ей уморительной, и она небезосновательно, хотя чисто интуитивно, определяла и готовила себя для другого, не уточняя, впрочем, для чего; во всяком случае, вслух.

Мы сидели с Катькой, глубоко откинувшись на спинку дивана, и злословили, по-русски, конечно, обо всех присутствующих – обо всех без исключения – и наконец дошли до Марка, и, наверное, тогда в первый раз мой взгляд пристально остановился на нем.

Он отличался какой-то расслабленной небрежностью в позе, и, казалось, эта небрежность незаметно переходила на весь его облик, даже на одежду. Но небрежность эта, я сразу поняла, была умышленная, заготовленная, потому что одежда, которая была на нем, стоила недешево

и шла ему. Длинные, волнисто-вьющиеся волосы также выделяли его среди коротко подстриженных аккуратных ребят.

Потом я часто говорила себе, что влюбилась в него именно в тот момент, когда увидела в первый раз, хотя если честно, то, наверное, это было не так. Тем не менее я, безусловно, обратила на него внимание. Он отличался от всех других очень похожих мальчиков именно тем, что не был похож на них. Во-первых, он выглядел явно старше остальных, я бы ему дала лет тридцать, хотя, как я потом узнала, он был старше. Разница даже в шесть-семь лет в этом возрасте существенная, хотя и приковывала к нему взгляд, но в целом говорила не в его пользу, так как мужчины постарше, как, впрочем, и женщины, на вечеринках более молодых всегда выглядят подозрительно.

Катка незаметно повела ногой, боднув меня коленкой, и, не боясь быть понятой, взглядом определив Марка как предмет своей мысли, сказала вслух то, что мне говорить не хотелось:

– Посмотри на этого, на красавчика загадочного. Чего это он тут делает, как не девок снимает. Эх, – добавила она, – может, и мне повезет.

Собственно, может быть, это предположение и явилось причиной, почему я, ну и конечно, Катка тоже, обратили на него внимание, – чтобы не пропустить момента, когда он приступит к активным и со стороны всегда развлекательным действиям. Впрочем, надо сказать, что через какое-то время мы утомились в ожидании, так как если он и находился здесь, чтобы «снимать девок», то делал это крайне нерешительно: за весь вечер он, кажется, не проронил ни слова, стоял, прислонившись к стене, с бутылкой пива в руках, и участвовал в разговорах только разве что немного застенчивой улыбкой.

Я знаю, я не могу сейчас объективно оценить его внешность по той простой причине, что, любя так долго, я стала искренне считать его, и продолжаю в это верить и сейчас, очень привлекательным, если не просто красивым, хотя, конечно, не той манекенной красотой мальчиков из рекламы мужского одеколona. Но, повторяю, я не судья.

Ведь все дело в отношении, ведь одни и те же черты и, даже более того, одни и те же привычки и поступки могут либо нравиться, вызывать умиление и даже восторг, если любишь человека, совершающего их, и, наоборот, оставлять безразличной и даже досаждать, вызывать раздражение, если ты к человеку безразлична.

Например, я помню: когда Марк болел, и лежал потный, небритый, постоянно сморкающийся, и разбрасывал вокруг себя бумажные трупки использованных носовых салфеток, я с удовольствием, требующим психоанализа, подбирала их, и с неведомым мне прежде самозабвением ухаживала за ним, и особенно любила подойти, и наклониться, и потрогать губами его лоб. Я испытывала при этом почти материнское умиление, и весь он сам казался таким родным, домашним, милым в своей неестественной детской беззащитности. Но оттого, что это был не ребенок, а большой, и обычно сильный, и часто подавляющий, и иногда очень взрослый Марк, мое временное физическое превосходство только добавляло к моей нежности нечеткий, но волнующий привкус несколько распушенной изощренности.

Хотя, с другой стороны, если бы на месте Марка лежало какое-нибудь другое больное тело, с воспаленными глазами, поросшее щетиной, я, конечно же, испытывала бы естественное чувство сострадания, но необходимость постоянно ходить за этим телом и подбирать насквозь сопливые салфетки вряд ли вызывала бы у меня чувство умиления, а скорее злобное непонимание: ну почему свои сопلي, хоть и прилипшие к бумаге, надо разбрасывать где попало?

К дивану, на котором мы сидели, подошли двое ребят, оба опрятно одетые, аккуратно причесанные, даже на расстоянии источающие бодрящий запах мужской молодежной парфюмерии. Сразу было видно, что эти серьезные англоязычные юноши пришли на вечеринку в надежде с кем-то познакомиться, в смысле с нами, с девушками, и вот сейчас в качестве цели

определили Катьку и меня. Они стояли какое-то время рядом, беседуя друг с другом, бросая на нас короткие оценивающие, впрочем, весьма не холодные взоры, не решив еще, видимо, какой именно первой фразой завязать с нами далекоидущий разговор.

Я, хотя непонятно почему, но тоже вдруг заволновалась, ощущая сосущее напряжение, которое, наверное, испытывает животное, чувствуя себя выслеженным начинающейся охотой. И ощущение опасности, и боязнь быть пойманной, и странное, почти эротическое возбуждение от погони – все вдруг разом сливается в этом напряженном волнении. В конце концов один из ребят неизощренно полюбопытствовал:

– Извините, девчонки, вы на каком языке говорите?

– На русском, – без тени кокетства, так что безразличие и меланхолия полностью смешались в интонации, ответила моя подружка.

– А почему не на английском? – попытался развернуть разговор настойчивый ухажер.

– А мы о вас говорим, – игриво перехватила я ниточку безвкусного обмена фразами. Впрочем, особенно игриво не получилось.

Тем не менее ребята сразу оживились, будто прозвучал трубный сигнал «в атаку».

– Значит, сплетничаете, – подхватил другой парень.

– Так точно. – Я склонила голову набок, заговорщицки улыбнулась и подняла брови, как то животное, на которое идет охота, когда оно вдруг неожиданно останавливается, и замирает на мгновение, и пристально смотрит на своих преследователей, как бы говоря удивленно: «Так вот кто охотится за мной».

– Смотри, Стив, как девчонки здорово устроились, сами отлично понимают всех вокруг, тогда как их разговор нам с тобой абсолютно недоступен. Получается, что у них перед нами очевидное преимущество, – сказал один из ребят.

Я согласно улыбнулась этому, в общем-то, правильному замечанию и сказала примирительно:

– Нам никакого преимущества не надо, мы не конкурируем здесь ни с кем. Хотя, конечно, это и есть настоящее уединение. Именно так я понимаю уединение, – и, посмотрев на ребят и заметив, что они не очень врубались, о чем это я, добавила снисходительно: – Я понимаю настоящее уединение как возможность быть, при желании, непонимаемой там, где ты понимаешь все и всех.

Один из ребят улыбнулся и сказал делано завистливым тоном:

– Вот бы нам так, – и, становясь более серьезным, добавил: – А сложно выучить иностранный язык с нуля и до нормального уровня?

– А его нет, нормального уровня, – возразила я и увидела, что они опять не поняли. – Видишь ли, язык – это бесконечность, это как Вселенная: поднимаешься на один уровень, а над тобой еще один, переходишь на него, а над тобой новые уровни. И как бы высоко ты ни поднялся, над тобой по-прежнему бесконечность.

Катька все это время сидела молча, справедливо полагая, что объяснять что-то этим мальчикам совершенно необязательно, и с величественным равнодушием рассматривала то бокал с вином, который держала, то свои удлинённые холеные ногти, лениво бросая взгляды ни на кого конкретно, а так, на окружение, но я-то знала, что несколько изящных колкостей уже приготовлены ею и для наших простоватых ухажеров, и для меня самой. Эта Каткина расслабленная поза сразу отрезвила меня, и я поняла, что говорю слишком серьезно в обществе, где никто к серьезности не готов, и, поняв это, широко заулыбалась, завертела головой, легонько хлопнула в ладоши, как бы призывая к вниманию, и громко затараторила:

– Хотите, расскажу смешную историю, как раз про язык, в смысле языковую, ну, как раз про то, о чем мы говорили? – и обвела взглядом комнату, ожидая поддержки.

Поддержка последовала – от кого кивком головы, от кого взглядом, а от Марка – все та же улыбка, только, может быть, более внимательная.

– Значит, так, – выпендрежно начала я, – история длинная, займет время, и пусть никто, пожалуйста, меня не перебивает, а то я запутаюсь. Так вот, – я набрала побольше воздуха, – у меня есть приятель Лио, это по-новому, а раньше Лёней звался. Ты, Катя, его, наверное, знаешь, он когда-то, скажем так, ухаживал за мной и... – я выдержала кокетливую паузу, – как-то звал меня в казино, в Коннектикут. Значит, приехали мы туда, вошли в зал и обалдели. Я первый раз очутилась в казино, и Лио, как потом выяснилось, тоже. Ну, вы знаете, казино есть казино, куча всяких автоматов, всякие крупье во фраках с бабочками карты перемешивают, и народ с безумными от возбуждения глазами ходит от стола к столу, костяшками перестукивает.

Приятель мой, человек осторожный, рассудительный, денег на пустое занятие это выделил весьма ограниченно, но недостаток свой куркулевский с лихвой компенсировал горячим стремлением непременно их все просадить.

Сделали мы с ним кружок по немаленькому залу, и говорит он мне, что, мол, не понимает он ни хрена во всех этих автоматах и прочих рулетках, а знает он одну лишь старинную русскую игру «очко», которая, как выяснилось, пустила также корни и на казиношном Западе. Единственное, говорит мне Лио, надо бы мне правила в подробностях выяснить, а то, глядишь, не совпадут они с теми, знакомыми с детства, и пропадут все мои ограниченные средства понапрасну.

Посмотрели мы с Лио вокруг и видим, стоит невдалеке сотрудник ихний, казиношный, как и полагается, во фраке и бабочке, сам узенький такой, элегантный, холеный. Лио, будучи парнем, наоборот, широким и в плечах, и вообще, с киевской, Киев – это город такой на Украине, – пояснила я не осведомленному в географии собранию, – с киевской уверенностью решительно направляется к нему и, как я слышу, интересуется на самом что ни на есть английском языке, правда, с примесью украинского гэканы, в чем, собственно, правила этой вот карточной игры. Чувак же элегантный мало того что во фраке, так еще и отвечает, к полному неудовольствию Лио, хоть и с вежливой улыбкой, но с плохо Лио разбираемым британским акцентом.

Не знаю, зачем им потребовалось его из самой Британии выписывать, своих шулеров, что ли, в Америке не хватает. Ну, Бог с ним. Так, значит, стоят они оба, один с киевским, другой с йоркширским акцентами, и видно мне со стороны – не вполне они понимают друг друга, акценты мешают.

Но, повторяю, Лио парень настойчивый, я в этом потом сама убедилась, и позорного незнания приднепровских английских диалектов чуваку британскому не спускает, а все спрашивает: «А сколько у вас здесь кинг стоит?» – что означает: «Сколько очков за короля дается?»; «А сколько у вас здесь квин стоит?» – что означает: «Сколько очков за королеву?». Не думаю я, что фраза: «Сколько у вас здесь кинг стоит?» – является наиболее для казино грамотной, но понять Лио я лично запросто в состоянии: не знал он, как вопрос свой нехитросложный по-другому выразить на не совсем еще поддающемся языке, а потому избрал простейшую магазинно-покупательскую форму.

Тем не менее ответы свои он получает, и, понимаю я, начинает у них двоих контакт налаживаться. Но тут вдруг чувствую, что глаза мои непроизвольно расширяются, безумная улыбка начинает блуждать по отрешенному лицу, и боюсь я слово вымолвить, чтобы не спугнуть самого моего, может быть, счастливого за долгое время момента.

Потому что слышу я, как Лио, пытаясь спросить чувака: «А сколько у вас здесь туз стоит?» – вместо загадочного английского слова «эйс», означающего туз, употребляет куда более обиходное слово «эс», означающее, как мы все знаем, «задница». И понимаю я, что перепутал Лио эти два слова не по злему умыслу, а по той простой причине, что сложно различить такую, на самом деле, едва уловимую разницу уху, привыкшему к однозначному украинскому говору. И не то чтобы Лио не знал значения слова «эс», то есть «задница», но где-то слышал он раньше, что называли туза вроде бы как «эс», и даже подумал тогда с удивлением: не чудной ли этот английский язык, в котором слова «задница» и «туз» произносятся одинаково.

И вот спрашивает Лио узкоплечего и прочее чувака в бабочке: «А сколько здесь у вас стоит задница?» – искренне полагая при этом, что спрашивает: «А сколько здесь у вас стоит туз?»

Лицо у чувака в бабочке не то чтобы вытягивается, а скорее принимает форму сдавленного по бокам овала, и не понимаю я пока, то ли это от невыносимой обиды, то ли от еще не осознанной радости, и он, не веря услышанному, уточняет: «Простите, что вы сказали?» Лио, подвоха никакого не чувствуя, без тени сомнения в голосе вбивает непонятливому чуваку, что интересует его самый что ни на есть естественный для казино вопрос: «Сколько здесь у вас задница стоит?»

Смотрю я и вижу, что чувак вконец оторопел и, как становится мне ясно теперь, готов согласиться забесплатно – непривычно ему еще за это мзду брать. Единственное, что, по-видимому, смущает его, это бескомпромиссный напор Лио. «Простите?» – повторяет он, приговаривая, что не понял. Лио, надо сказать, эта ситуация стала порядком раздражать. Отсутствие сотрудничества со стороны обслуживающего персонала не соответствовало его представлению о достоинствах общества свободного предпринимательства. Поэтому, уже с недовольными нотками избалованного клиента в голосе, Лио еще более напористо повторяет: «Ну чего непонятно-то? Сколько задница стоит?»

Я, надо сказать, к этому моменту уже опустилась на корточки, не доверяя постепенно слабеющим и мелко трясущимся от беззвучного хохота коленкам.

Британский чувак, казалось, только и ждал этого последнего подтверждения своих, как я теперь уже точно поняла, самых что ни на есть счастливых догадок и вдруг, совершенно неожиданно для Лио и с более дружелюбной, чем официальная, улыбкой, представился: «Джон». Это явно сбilo Лио с толку, но, решив не быть примитивно невежливым, он протянул руку и буркнул: «Лио».

Чувак схватил его руку и, не выпуская ее, что-то затараторил со своим, еще более усилившимся от неожиданного волнения, британским акцентом, из чего Лио только и смог уловить, что для решения этого деликатного вопроса чувак приглашает его в свой кабинет на втором этаже.

Не в силах сразу охватить вдруг изменившуюся ситуацию и подсознательно вздрогнув от слова «пройдемте», сказанного хоть и на английском, но всколыхнувшего не самые приятные воспоминания, Лио разом изменившимся неуверенным голосом произнес: «Куда пройдемте?»

– Ну как, – сказал Джон, все еще поглаживая широкую ладонь Лио с подступающим к запястью медвежьим волосатым покрытием, – ко мне в кабинет, – и он немного заискивающе улыбнулся, как бы намекая, что вот прямо здесь мы ведь не можем, люди кругом и неудобно как-то перед людьми. Но Лио – парень не то чтобы подозрительный, а, скажем, осторожный, и он не пойдет ни с кем никуда, пока не поймет совершенно ясно, для чего и зачем. И поэтому он задает понежневшему чуваку вполне естественный, хотя и немного растерянный вопрос: «А чем там лучше, чем здесь?»

В глазах чувака я, с трудом отползшая к ближайшему игровому автомату и подперевшая себя им, поскольку крайне нуждалась уже в стабильной опоре, прочитала смесь ужаса и радости неизведанного.

Не зная, на что решиться, и, по-видимому, решив узнать чуть больше о своем предстоящем партнере, он вдруг осмелился на совсем интимный вопрос: «Простите, – сказал он, – я слышу в вашей речи акцент, но не могу его идентифицировать. Если не секрет, вы откуда родом?» – «Я? – нерешительно переспросил Лио и, подумав, вдруг с неожиданной решимостью ответил: – С Украины». – «С Украины...» – почти в беспамятстве повторил чувак, и сдавленный стон радостного возбуждения сорвался с его влажных уст.

Мне следует пояснить вам, почему тон Лио вдруг претерпел неожиданную метаморфозу. Дело в том, что для Лио все разом стало понятно – и почему чувак представился ему, и почему

он предложил пройти к себе в кабинет, а главное, почему чувак осведомился о его, Лио, стране происхождения.

Прочитав маленькую табличку на нагрудном кармане Джона, говорящую о высокой Джоновой менеджерской позиции, Лио вдруг понял, что чувак, проявив свои недюжинные психологические способности и распознав в Лио именно то, что так долго никто распознать не мог, хочет предложить Лио помочь казиношной компании распространить свой казиношный бизнес на украинские города и веси.

И оказалось, что не против уже Лио пройти в комнату на втором этаже, так как знает он, по старой фарцовской закалке, что серьезные деловые предложения не решаются на глазах у публики под трескотню игровых автоматов.

«Ну чего, пошли, – говорит Лио чуваку и, обернувшись ко мне и увидев меня сидящей на корточках с изможденным от счастья лицом, интересуется: – Марин, ты чего? С тобой все в порядке?»

Джон, увидев меня в более чем странной позе и определив во мне особь конкурирующего пола, сразу оценить изменившуюся ситуацию не сумел и, отпустив руку Лио, начал водить руками то в мою сторону, то в его, а потом почти беззвучно прошептал: «И она тоже?» Лио же, интерпретировав его жестикуляцию как имитацию движения раздачи карт, сказал, благородно заступаясь за меня: «А чего? А чем она хуже?»

Вечный вопрос: откуда что берется? Ну спрашивается, откуда, из какого такого неведомого резерва взялись у меня силы хоть со слезами, хоть и дрожащим голосом, но выдохнуть: «А чем я хуже? Моя эс стоит здесь столько же, сколько и твоя эс. И вообще, я тоже с Украины. Да, Лио?» «Да», – по-партнерски подтвердил Лио, считая, что я изменила место своего бывшего проживания, чтобы поучаствовать в раздаче казиношных украинских прибылей.

«С Украины... – как загипнотизированный, повторил чувак, и видно было, что последняя капля рассудка отступила под напором его смешанных чувств. – Пойдемте все вместе, – выдавил он из себя и добавил, начиная тяжело дышать: – Ко мне на второй этаж».

«Пойдем, Марин, – деловито сказал Лио, но тут игровой аппарат, поддерживавший меня, куда-то мотнулся, и я упала набок, подхватив руками живот, суча ногами так, что у меня слетела туфля, и так долго сдерживаемый яростный, сумасшедший хохот перекрыл доминирующее до этого цикадное щелканье игровых автоматов.

Тут сбежалась толпа, Джон в ней затерялся, вызвали медперсонал, мне давали что-то нюхать, а потом вывели на улицу, якобы дать отдышаться, а на самом деле чтобы я своей разнузданностью не отвлекала клиентов от незаметного, постепенного процесса расставания с деньгами.

Лио на мою сумасшедшую выходку страшно обиделся, будучи уверенным, что я послужила преградой к его возвращению в Житомир и прочие районные центры в завидной роли графа Монте-Кристо, и, по-видимому, из-за этой нелепой обиды ничего из нашей зарождавшейся дружбы так и не получилось. Хотя мне обидно, что не знает он, от чего я его уберегла. Много, что ли, мне надо, достаточно было бы простой человеческой благодарности.

Я выдохнула, обвела взглядом комнату, давая понять, что закончила. Во время моего рассказа присутствующие, особенно женской принадлежности, хотя смущенно, но нередко похихикивали, а порой мне даже приходилось выдерживать паузу, чтобы басовитый хохоток не заглушил части повествования. В общем, я оценила реакцию на рассказ как ободряющую и почувствовала себя реабилитированной за свою начальную несдержанную серьезность.

Надо сказать, что история эта была домашней заготовкой, рассказывала я ее попеременно разным людям раз шесть-семь, постоянно что-то изменяя, добавляя, подбирая новые слова и интонации. Такое обкатывание не прошло впустую, и в целом я выдала ее на одном дыхании,

с несущественными запинаниями и заминками. Народ в комнате все еще посмеивался, и тот парень, что заговорил первым, подошел и сказал тоном ценителя:

– Тебе бы юмористом быть.

Стараясь сдержать вызванное длинным монологом возбуждение, я подняла глаза и скромно, даже смущенно, спросила:

– Так тебе понравилось?

– Конечно, – ответил он и хотел продолжить, но кто-то из глубины комнаты перебил его:

– Марина, а эта история действительно происходила?

О, как я ждала этого вопроса!

– Конечно, нет. – Я смущенно опустила глаза. – Я придумала ее, – и, как бы сомневаясь, продолжать ли, все же добавила: – Только что.

Эта невинная ложь тоже была частью истории.

– Так значит, ты импровизировала? – последовал удивленный вопрос.

– А разве вы не заметили? – засмеялась я от удовольствия.

Теперь номер был выполнен до конца, и я могла расслабиться.

Тот парень, что заговорил первый, подсел на диван рядом со мной и представился:

– Меня зовут Стив, а тебя, как я понял, Марина.

Голос его утратил нагловато-пижонский тон уверенного охотника.

Весь оставшийся вечер мы просидели болтая – я, Катька, Стив и его приятель. Порой я пробегала взглядом по комнате и каждый раз невольно, на долю секунды, останавливалась на Марке. Он все так же стоял, прислонившись к стенке, с неизменной бутылкой пива, и только взгляд его не блуждал, как прежде, а был устремлен в одну точку, и задумчивые глаза, я вдруг заметила, став темно-серыми, придали особую выразительность его лицу.

Только лишь однажды я поймала его взгляд, но тут же мои глаза метнулись в сторону, не желая ни поощрять его, ни соперничать с ним. Я не заметила, когда он подошел, только вдруг услышала свое имя, произнесенное почти по-русски, без английского коверканья родных мне звуков, с твердым «р» и правильным ударением.

Я подняла глаза. Марк смотрел на меня почти в упор, и я вблизи смогла различить две симметричные морщины, бегущие от носа к уголкам губ. Глаза его, ставшие вдруг светло-серыми с уже проблескивающей голубизной, казалось, старались загипнотизировать меня, и я почти зло подумала: «Ну давай, посмотрим, кто кого. Может быть, я тебя скорее заморожу, у меня-то глаза черные».

– Извините, ребята, – сказал он и добавил просто: – Можно, я вам как-нибудь позвоню, Марина?

«Ну вот, Катька оказалась права, – раздраженно подумала я. – Вот так он девочек и снимает», – и с почти искренним безразличием пожала плечами:

– Пожалуйста, я на двести шестьдесят девятой странице телефонного справочника, четвертая сверху, – и, вдруг засомневавшись, действительно ли хочу, чтобы он мне позвонил, добавила: – Только я все время занята.

Он все так же пристально смотрел на меня, глаза его стали почти голубыми, и я вдруг представила, что могу управлять их цветом, и тут же пожалела о своей последней скоропалительной фразе.

Марк понимающе улыбнулся, лицо его потеплело, а голос прозвучал мягко, но в то же время не оставляя ни тени сомнения:

– Обещаю, я позвоню, когда вы будете свободны. Еще раз извините, ребята, – повторил он и отошел.

Я видела, как он прощался в коридоре с кем-то из знакомых и потом исчез, ни разу больше не посмотрев в мою сторону. Стив со своим приятелем, понятно, напряглись от неожиданности.

данного вторжения третьей стороны, но виду не подали. На прощание мы договорились как-нибудь встретиться вчетвером и сходить куда-нибудь, но я уже заранее знала, что если они и пойдут, то без меня.

Марк позвонил мне через четыре дня и действительно застал меня лениво читающей книжку, полулежа на потускневшем диване в моей маленькой и щербатой однокомнатной квартире, которая, несмотря на все старания вдохнуть в нее уют и теплоту, все равно невытравимо пахла казенным безразличием временного жилья.

Не то чтобы все эти дни я ждала, когда он позвонит, нет, я давно уже приучила себя не думать об обещанных звонках и не расстраиваться, не дождавшись их. Скорее я, иногда вспоминая о нем со спортивным азартом лошади, поставившего на неизвестную и потому сомнительную лошадь и гадающего: дойдет – не дойдет, думала: позвонит – не позвонит. И все же, когда я услышала его голос и, конечно, сразу узнала его, я обрадовалась и даже почувствовала легкий приступ волнения, исходящий сразу из двух источников: одна волна поднималась из области сердца, тогда как вторая спускалась из затылочной области и сходилась с первой где-то в районе голосовых связок.

– Здравствуй, – сказал он. – Это Марк.

– Марк?

Я удивилась, услышав его имя.

– Да, помнишь, мы познакомились в субботу. Ты еще сидела с девушкой и двумя ребятами, и мы договорились, что я тебе позвоню.

– Мы договорились? – поставила я под сомнение его утверждение.

– Ну, в общем, типа того, – пошел он на компромисс. – Так вот, меня зовут Марк.

– Ага, вот значит, какое оно, имя загадочного, молчаливого незнакомца, – не найдя ничего лучше, манерно проговорила я.

– Я постараюсь в дальнейшем компенсировать свой давешний недостаток красноречия. Хотя не уверен, что у меня получится так, как у тебя.

Потом он спросил сразу, без перехода:

– У тебя есть какие-нибудь планы?

– На когда?

– Как на когда? На сегодня.

– Странно, – сказала я. – Это странно, но у меня нет планов. У меня сегодня первый выходной за последние три недели. Как ты узнал об этом?

– Я почувствовал, – сказал Марк и после паузы добавил: – Мне кажется, я умею тебя чувствовать.

– Это непонятно, хотя забавно, – на всякий случай, чтобы как-то отреагировать на его сомнительную фразу, сказала я.

– Так что, встретимся?

Вообще его голос звучал сдержанно и в то же время расслабленно, без обычных для первого звонка бравурно-нахрапистых ноток; так звучит голос старого приятеля, давно не появлявшегося и вдруг прорвавшегося из небытия.

– Хорошо, – просто сказала я, отбрасывая, в свою очередь, ненужную вычурность, которая возникает вместе с волнением как своеобразная форма самозащиты.

Мы встретились в дешевом итальянском ресторанчике и проболтали часа два. Необычным было то, что он ничего не спрашивал обо мне – ни где я учусь и учусь ли, ни где работаю, ни о моем прошлом, – вообще не задал ни одного вопроса. Впрочем, при этом он ни слова не рассказал о себе.

Разговор наш не касался никакой конкретной темы и был вроде как ни о чем и вроде как обо всем. Он парил над темами, лишь слегка касаясь их и не поддаваясь соблазну углу-

биться, создавал атмосферу легкости и беззаботности. Я знала это и раньше – поддерживать такой разговор сложнее, чем говорить о чем-то конкретном и серьезном, так как он требует особой изобретательности и раскрепощенности фантазии. Даже когда мы оба замолкали, пауза нисколько не казалась лишней и не давила, как обычно давят паузы.

Как правило, являясь доказательством отсутствия общего, они тяжело нависают над разговором. Здесь же пауза была простой передышкой для голоса, естественной частью общения, подключающей к нему взгляд внимательных глаз, улыбку, движения рук.

Мне было легко с Марком, и я была благодарна ему за вечер. Когда мы подходили к моему дому, я решила, что если смогу прочесть его движение, направленное к моим губам, то отвечу встречным движением, чтобы ободрить его и, может быть, чтобы ощутить вкус его слегка сжатых губ, но он такого движения не сделал – или я не смогла разглядеть. Он просто протянул мне руку, и мы договорились встретиться через пару дней, совсем поздно, после моей работы.

Глава третья

Так мы начали встречаться и продолжали встречаться почти каждый день. Марк ждал у подъезда моего дома или прямо у магазина, где я работала по вечерам после учебы – надо ведь было как-то платить за квартиру, – и мы шли куда-нибудь вместе перекусить и сидели до упора, пока засыпающая официантка не начинала смотреть на нас, единственных оставшихся в зале, как на личных врагов, и от этого вполне откровенного взгляда мы отвлекались друг от друга и потому вставали и уходили. Когда я освобождалась слишком поздно и была настолько усталая, что даже сама мысль о еде представлялась избыточной, мы просто брели по поздним вечерним улицам, и Марк брал мою ладонь в свою, и мы болтали о всяком-разном, и мне становилось покойно и умиротворенно так, что даже сглаживалась усталость.

Чем дольше мы встречались, чем плотнее он наполнял мои вечера, а вместе с ними и мои мысли и мое сознание, тем больше я начинала ощущать перемену в еще недавно занудливой повседневности. Теперь и сама жизнь, и мое в ней пребывание вдруг обрели разумное продолжение и смысл.

Скоро эти вечерние встречи с Марком переросли в потребность, в ежедневную необходимость, затмив и учебу, и, конечно, работу, и подруг, и прочую социальную жизнь. И так оно шло, и так оно продолжалось и продолжалось по нарастающей, и Марк все глубже входил в мою жизнь и занимал в ней все больше места, пока вдруг я не почувствовала, что, кроме него, в ней, по сути, ничего и не осталось. И хотя все происходило именно так и наши отношения неуклонно развивались, все же они оставались на неизменном уровне, потому что в их движении, как ни странно, отсутствовала сексуальная направленность.

Не то чтобы я не могла прожить без секса, скорее наоборот – к своим двадцати двум годам я уже поняла, что секс только ради секса меня не интересует, и я легко могла построить отношения с ребятами без его базовой поддержки.

Более того, я знала, что получаю удовольствие только в том случае, если влюблена или люблю и если он, кого я люблю, тоже уже успел притереться ко мне, к моим ощущениям, к моим привычкам, и по жизни вообще, и в постели в частности. Ведь занятие любовью – это своего рода партнерство, а для того, чтобы что-нибудь сделать хорошо в партнерстве, надо как минимум знать и чувствовать своего партнера.

Исходя именно из такого, скорее прагматического, чем морального, подхода, я не была сторонницей ни случайных связей, ни новых встреч и не стремилась к ним. Когда я все же решала попробовать и это свершалось с кем-то, кто мне очень нравился и с кем, я надеялась, у меня возникнет что-то длительное, я всегда волновалась, и волнение отвлекало, и я не могла сконцентрироваться и больше думала и анализировала, чем чувствовала.

Я, конечно, могла оценить нового партнера и признать, например, что да, он хорош, и техничен, и ласков, но это было как наблюдение со стороны, как будто не я являлась на самом деле предметом его техники и ласки. Я тоже старалась быть и техничной, и ласковой, но именно старалась, желание исходило от головы, от понимания необходимости, а не от естественного, неотделимого от чувства порыва.

Это как с юмором, шутила я, когда пыталась довести свои нехитрые ощущения до своих неверящих подруг, ты можешь услышать анекдот и подумать про себя: да, это смешно, это остроумно, при этом, однако, не засмеявшись и даже не улыбнувшись, то есть оценить юмор как бы со стороны. И только от чего-то редкого, только от очень блестяще остроумного начинаешь хохотать, так и не успев как следует понять, от чего именно.

И хотя сравнение юмора с сексом само вызывает улыбку, но ведь правда – для того, чтобы во время любви голова отключила свой аналитический механизм, ты должна чувствовать того,

с кем ты, как и он должен чувствовать тебя, знать реакцию на самое незначительное движение, разгадать ответ на самое неслышное слово, распознать самый легкий вздох. А такое умение требует и времени, и опыта, и знания друг друга, и знание это становится особенно эффективным, только лишь когда соприкасается с любовью.

Ведь это все туфта, выдуманная романтическими писателями, в основном льстящими себе мужчинами, что женщина помнит как-то особенно своего первого партнера и как-то особенно любит его всю жизнь. Такого не может быть хотя бы потому, что в первый раз и почувствовать-то ничего нельзя, кроме нервной боли, страха и волнения, а этих животных чувств память сторонится и держать в себе не хочет. Так было и со мной.

Своего первого мужчину я скорее случайно выбрала именно для этой цели, для первой моей ночи – не потому, что я как-то безумно хотела именно его или хотела вообще, а потому, что моя девственность начинала рождать у меня комплексы и давить на меня, и я вполне умственно решила от нее избавиться.

Потом, хотя и очень короткое время, скорее из любопытства и из-за возбуждающих рассказов моих более опытных подружек, мне захотелось попробовать разного, и я пару раз легко поменяла партнеров. Но этого оказалось для меня достаточно, я очень скоро поняла, что, меняя вот так, безотчетно, я, возможно, что-то пропустила и, наверное, пропускаю вообще, так как от этих двух-трех попыток у меня не осталось ни удовольствия, ни памяти. Я уже начала бояться, что, может быть, что-то не так с моей физиологией, но первый длительный опыт лишил меня всех страхов. Он настолько многому научил меня, настолько оказался показательным, что я в своей, в общем-то, короткой сексуальной жизни стала стремиться к длительности и стабильности, что и определило мою женскую суть и мое женское понимание любви физиологической.

С Марком же было по-другому. Он не только не пытался продвинуть наши отношения в сторону секса, но у меня возникало ощущение, что он вообще не думал об их развитии в этом направлении. Такое поведение не только казалось странным, оно и было странным-мы встречались уже почти месяц, а самым большим достижением были дружеские поцелуи в щеку у моего подъезда, когда Марк меня провожал.

Не то чтобы я стремилась к большему, но такое непривычное для меня развитие событий казалось подозрительным и наводило на размышления относительно его, Марка, возможностей. Пару раз я даже хотела поделиться с Каткой этой начинающей беспокоить меня проблемой, я бы так и сделала, наверное, в любой другой ситуации, но что-то удерживало меня в данном конкретном случае. Вскоре я поняла, что моя неожиданная скрытность, нежелание выставлять напоказ свои отношения с Марком имеют глубинные причины, и тут же заподозрила себя в чем-то пугающе серьезном и задалась вечным вопросом: а не влюбилась ли я?

Парадоксально было и то, что чем дольше мы общались и чем дольше ничего не происходило и Марк продолжал бездействовать, тем сильнее он меня возбуждал-и его внешний вид, и манеры, и голос – и тем резче, откровеннее я думала о нем и представляла его с собой.

Дело дошло до того, что я стала фантазировать о нем, засыпая, и он не покидал меня с наступлением сна. Когда мы встречались, кожа моя начинала вздрагивать от каждого его, даже совсем нечувствительного, прикосновения, и я с трудом сдерживалась, чтобы не выдать волнения, и мне приходилось закрывать глаза и напрягать мышцы в попытке унять дрожь. Постепенно это желание стало навязчиво преследовать меня, и одна только мысль о Марке, только его голос в телефонной трубке, один его взгляд вызывали у меня секундный ступор, обусловленный тяжестью накопившегося и нереализованного порыва.

Однажды мы сидели вечером в маленьком ресторанчике, была суббота, и уютное помещение было заполнено до отказа разговором, смехом, движением. Мы расположились за круглым

столиком, и Марк что-то рассказывал мне. То ли голос его, всегда негромкий, затерялся в шуме вокруг, то ли я так сконцентрировалась на его губах и мне не важно было, что они произносят, но я не слышала ни его слов, ни голосов и сутолоки рядом. Я смотрела на него, не знаю, как долго, я даже не помню точно, о чем думала, только вдруг ощутила резкую и сладкую волну, съедающую мое тело, и, когда она подступила к груди, я едва удержалась, чтобы не вскрикнуть.

Я даже не поняла сразу, что произошло, – настолько все затуманилось, и, только лишь пробившись сквозь эту туманную паутину, я осознала, что нога моя, верхней своей частью лежащая на другой ноге, методично сдавливала и отпускала мышцы в самом своем основании, и, видимо, это ритмичное движение, вошедшее в такт с моим воображением, и вызвало сейчас восторженную и даже пугающую реакцию. Когда я разобралась, что же произошло на самом деле, мне стало немного страшно от очевидности того, что мои рефлексy и тело сильнее меня и не поддаются контролю. Но в то же время я почувствовала налет неосознанной, наверное, очень женской гордости – надо же, как я на самом деле могу! Как бы то ни было, мне стало ясно, что хотя я, как смешно выяснилось, могу обойтись и вот таким странным образом, но все дело принимает болезненно запущенную форму и требует разрешения, желательно до того момента, как я начну вводить в практику процесс сексуального удовлетворения в ресторанах и прочих публичных местах.

Когда мы вышли на улицу и Марк направился было по направлению к моему дому, я взяла его за руку и сказала, загадочно улыбаясь:

– Нет, Марк. Сегодня я хочу проводить тебя, – и когда он поднял брови в удивлении, я добавила: – А почему бы и нет, в этой стране, говорят, равноправие. Почему ты должен всегда меня провожать? Давай, я хотя бы разок доведу тебя в сохранности до дома.

Я понимала, что слова мои, да и поступок, выглядят глупо и прозрачно и что Марк скорее всего все понял, но у меня не было времени на подготовку, а ничего лучше я придумать не смогла. Мы сели на трамвайчик и доехали до остановки, рядом с которой, прямо через дорогу, находился дом, где жил Марк.

Это был самый престижный район Бостона, где красного кирпича дома выходят на реку и где невысокие старинные, видимо, переделанные еще из газовых фонари создают таинственное и праздничное настроение. Я не знала, что Марк живет здесь, но сейчас меня это новое знание не особенно занимало: разом нахлынувшее волнение стремительно затапливало меня с головой, и единственное, на что еще хватало холодного рассудка, это на всякие замысловатые слова, которыми я проклинала свою развязную инициативу.

Мы остановились возле его подъезда, и наше надуманное прощание было настолько искусственным, что, конечно, ему ничего не оставалось, как предложить мне подняться наверх выпить кофе, и, конечно, я согласилась, и, конечно, мы поднялись.

Его квартира на четвертом этаже была небольшой, хотя более чем достаточной для одного человека, с, видимо – я точно не знала, – дорогой мебелью, с большим, почти во всю стену, окном на реку. Все здесь было красиво и необычно для меня, уже отвыкшей от домашнего уюта, – слишком много ненужных вещей создавали атмосферу тепла, и, как ни странно, не самый образцовый порядок только добавлял ощущение раскованности. Я с горечью подумала о своем жилье и даже порадовалась сейчас ненастойчивости Марка, из-за которой мне так и не удалось его к себе пригласить.

Я подошла к окну и стала смотреть на реку, на покачивание отраженных в воде огней противоположного берега. Я не заметила, как Марк оказался рядом, и только вздрогнула от прикосновения, от того, как он обнял меня за талию, и сердце по-дурацки остановилось и пропустило удар, и замерло дыхание, и я уже не знала, что делаю, потому что все вокруг качнулось и расплылось, и я, онемевшая, не осознавая своих движений, оказалась прижатой к его груди, и

в испуге и отчаянии с мольбой посмотрела на него, и увидела его глаза, заливающие все своей синевой, и слышала, как он шепнул: «Как я хотел тебя все это время».

Я кончила почти сразу, почти мгновенно, отчего меня немного отпустило, и я смогла удивиться этому, впервые открытому, своему качеству. Но он ничего не заметил, и я продолжала ощущать его в себе, и через несколько мгновений все снова начало кружиться перед глазами и постепенно слилось воедино, и я уже не могла ничего различить и потому закрыла глаза.

Он двигался во мне как-то неожиданно, по-другому, с такими движениями я не была знакома раньше, это не было плавное ритмическое колебание определенной амплитуды, а, скорее наоборот, движения рваного, если вообще существующего, ритма. Он то убыстрялся, то замедлялся и почти останавливался, и я замирала вместе с ним, но потом вдруг, в самый неожиданный момент, ударял меня внутри так глубоко и с такой неожиданной силой, что, мне казалось, не только крик, но и вся моя плоть вырывается наружу.

Удары эти все нарастали и по силе, и по скорости, и, когда я уже начинала к ним привыкать, когда я уже начинала ловить их безумный ритм и подстраиваться под него, они вдруг так же неожиданно замирали на полудвижении, полу-взмахе. Мои бедра еще чуть дрожали, ожидая продолжения, но его не было, и они расслаблялись, и именно в этот момент, застигнув врасплох, он снова ударял меня одиночным немилосердным движением, и от неожиданности, не успев собраться, я снова рассыпалась в стоне и в неверии выкрикнутого «нет, не надо», но он не понимал все равно.

Потом он снова останавливался, и, сменив и ритм, и угол, и само движение, сделав его вращательным, упирался в стенку, и начинал надавливать на нее, только на это одно место, так что я сжималась от резкости ощущения, но потом он снова менял направление вращения, ища другую, еще нетронутую точку и снова находил, и я снова сжималась, пока все не менялось опять.

Я погрузилась в эту запутанную ритмику блюзовой мелодии и растворилась в ней, пока не почувствовала, как выгнулось в моих руках его тело, и он подался вверх, и я ощутила его разом удесятенное, дошедшее до дрожания напряжение и горячий, будоражащий всплеск внутри меня, и все многократно усилилось и смешалось, переплелось, и он сжал меня, не щадя моего тела, и все было так сильно, что я только слышала его крик или стон, и догнала его своим, и накрыла его.

Мы лежали без движения, без звука, без дыхания, без сил в темноте комнаты, да и откуда им было сейчас взяться, они все были израсходованы, и им требовалось время, чтобы накопиться вновь. Когда я смогла думать, я поняла, что сейчас в мою любовь вошли и благодарность за то неземное, что он позволил мне только что испытать, и трогательная нежность к нему за то, что ему тоже было хорошо со мной.

Наконец я смогла повернуться на бок и, приподнявшись над распластанным Марком, стала разглядывать его неживое лицо. Видимо, он почувствовал мой взгляд, потому что открыл глаза и, не улыбаясь, очень серьезно сказал:

– Ты обалденная.

И он протянул усталую руку, и обнял меня за шею, и потянул к себе.

– Нет, это ты обалденный, – несогласно прошептала я, пока мои искусанные губы не успели достичь его рта. – Ты так потрясающе кончаешь, – сказала я потом.

Я не видела, но почувствовала, как он улыбнулся.

– Ты тоже.

Я восприняла это как похвалу.

– Ты останешься у меня?

– Мне надо будет рано уйти, – ответила я, понимая, что это положительный ответ.

Это была первая, но не единственная ночь, когда я осталась у Марка. Собственно, я оставалась у него каждый раз, когда мне на следующий день не надо было вставать с рассветом, что случалось не так часто, как мне хотелось бы, но все же раза два в неделю.

Утром мы отправлялись завтракать в соседнее кафе, и это был беспечный и беззаботный завтрак. Мы пили кофе, и ели вкусные с изюмом булочки, и болтали о чем-то под стать завтраку – очень беспечном и беззаботном, и смотрели друг на друга с нежной лаской, и от утренней, ранней, чуть сонливой разнеженности я относилась к Марку особенно трогательно, и мне хотелось дотронуться до него, и снова оказаться в его квартире, и замереть там рядом с ним на целый день до завтрашнего такого же завтрака, но это было невозможно, так как впереди ждали дела.

Впрочем, вечером он, как всегда, встречал меня у работы, и мы снова были вместе, и снова проводили час или два, и, если я не могла поехать к нему, он не настаивал и провожал меня, и я целовала его в губы и не могла оторваться от него и оставить его этой ночью одного, но все же заставляла себя, зная, что все продолжится завтра. И все действительно продолжалось завтра, и мы скользили по дням и неделям, пока они не перетекали в месяц, а потом в другой, и мне было необыкновенно легко, и ничто не вклинивалось в этот счастливый распорядок, ничто не вызывало вопроса, и поэтому ничто не требовало ответа ни от меня, ни от Марка.

Глава четвертая

Я не помню точно, когда Марк все же спросил меня, где и на кого я учусь, я просто не обратила тогда внимания на этот его несущественный вопрос. Помню только, что мы сидели в простеньком кафе уже вполне сытые и единственным, что оставалось на столе, были две неполные чашки кофе, да еще хлебница с парой разломанных пополам булочек.

– В Бостонском университете, – ответила я, – на экономическом.

– Что это значит? Я имею в виду, кем ты станешь? – спросил он.

– Если честно, я сама точно не знаю. Но вроде бы в финансовых компаниях, делать аудит, рассчитывать налоги или быть финансовым советником. В общем, заниматься разной туфтой типа этого.

– И тебе нравится? – спросил он. Я скорчила гримасу недоумения.

– Нравится? Даже не задумывалась над этим, – попробовала уйти от ответа я, но потом добавила по инерции монотонно: – Нормально.

– А зачем же ты тогда пошла туда учиться? – опять спросил Марк.

– Зачем я пошла туда учиться? – лениво повторила я его вопрос, показывая этим, что мне этот разговор не особенно интересен. – А куда еще? Экономисты везде требуются, работы полно, посмотри газету, куча объявлений, зарплата хорошая. Что еще надо – стабильность и вера в завтрашний день. – Я попыталась свести разговор в шутку, мне не нравилась тема, слишком односторонняя, слишком про меня, и я не хотела продолжать.

Марк мягко улыбнулся, он всегда так улыбался, когда не соглашался, и я поняла, что мне не удастся отделаться формальной отговоркой.

– Но если тебе не нравится.

– Я так не сказала, я сказала «нормально». Не так чтобы я жутко тащилась от всех этих дебатов, кредитов и прочих дисперсмантов, но, я думаю, никто не тащится.

Я потихоньку начала раздражаться, разговор был мне не по душе.

– Я думаю, кто-то тащится. Кто-то наверняка тащится, – повторил Марк. Он говорил медленно, как бы взвешивая слова, аккуратно их подбирая. – И ты всегда будешь проигрывать им.

Это было уже что-то новое, никогда раньше Марк не говорил со мной таким тоном – безапелляционным, давящим.

– Послушай, – сказала я, – я ни с кем соревноваться не собираюсь. Очень хорошо, если кто-то станет лучше меня. Будет кому местную экономику поднимать.

– Зачем начинать, заранее зная, что тебя ожидает неудача? – задумчиво и как бы самому себе сказал Марк. – Это как игрок, который выходит на поле, заранее готовясь проиграть матч. Только для тебя поражение в результате выльется в напрасно потраченные годы, постоянное неудовольствие, и потом невозможно будет что-либо изменить и...

– Хорошо, – перебила его я. – Откуда ты знаешь, что меня ждет неудача? Ты что, считаешь, что я соображаю плохо? Так вот, в качестве информации, я одна из лучших на курсе!

– Малыш, ты только не злись, – сказал он миролюбиво, – мы ведь просто обсуждаем. Я уверен, что ты способная.

Более того, ты способнее многих других, которых я знаю. А я знаю много сильных людей.

Я бы подумала, что он шутит, если бы голос его не звучал настолько серьезно.

– Но, видишь ли, когда мы говорим о лучших, в силу входят другие правила. Это как законы Ньютона, которые действительны только на Земле и распространяются на всех, кто здесь находится, но за пределами ее они не действуют. Там, в космосе, властвуют законы Эйнштейна и геометрия Лобачевского, а не Евклида, например.

– Но там нет жизни, как ты говоришь, за пределами Земли, – возразила я.

– Это ты так думаешь, – отмахнулся он от меня. – Так же и среди творческих людей: для них действуют другие законы, – он сделал паузу, подбирая слова, – счастья, гармонии, даже любви – абсолютно другие законы, и конкуренции тоже.

– Ну хорошо, и какие же они, эти законы? – уже скорее саркастически, чем добродушно, спросила я.

Он все так же мягко улыбнулся.

– Все я не знаю, о многих сейчас незачем говорить, но самый простой – тот, о котором мы сейчас спорим. – Он опять остановился, опять подбирая слова. – Человек хорош в том, что любит, а любит то, в чем он хорош.

– Это несложно.

– Конечно, несложно, – не понял он моей иронии или сделал вид, что не понял. – Более того, банально, но парадокс в том, что самые простые и банальные вещи как раз из-за своей простоты и ускользают от нас.

Нет, подумала я, все он понял.

– Но я не об этом. Получается замкнутый круг: чем больше ты любишь то, чем занимаешься, тем лучше это делаешь. А чем лучше делаешь, тем больше ты это любишь. В результате человек поднимается над собой, даже над своим талантом, и конкурировать с ним становится сложно.

Теперь я поняла, что меня раздражал, даже больше, чем сама тема, его тон. Он говорил со мной, как с ребенком – поучительно, даже назидательно, – и говорил бы что-нибудь оригинальное, а то действительно общие места. Я хотела сорваться на резкость, чтобы закончить наконец этот ненужный разговор, я уже приготовила фразу, но в последний момент все же сдержалась и промолчала. Вместо этого я перешла на еще не забытый московский, более развязный тон.

– Ну ты романтик. Тебе бы все о высоком. Какие там любишь не любишь, тоже мне ромашки! Выжить бы, – вдруг вырвалось у меня в сердцах. – Ты бы посмотрел, где и как я живу, пашу на двух работах, чтоб прокормиться, занимаюсь по ночам, сплю четыре часа!

Меня понесло по-настоящему. Все, что накопилось во мне, вся усталость, разочарование, бессмысленное ожидание чего-то, постоянные ограничения и нехватка-все это из-за дурацкого разговора вдруг нахлобилось одно на другое и рванулось из меня, и я не в силах была сдержаться.

– Ты знаешь, когда я последний раз к зеркалу подходила? Когда у меня время было накраситься? – Я почувствовала слезу у себя в голосе. – Хорошо еще, что в этой стране и краситься-то не надо, все равно никому дела нет. – Вот уже и на страну покатила, подумала я. – Если бы я родилась здесь, я бы, как ты, думала о высоком, о космосе, о душе, а не о том, как мне за квартиру заплатить и на что зуб, который, сволочь, уже вторую неделю болит, залечить.

Я остановилась, чтобы сдержаться и действительно не расплакаться, очень уж стало жалко себя, особенно из-за этого зуба.

– Ты, Марк, с кем разговор этот затеял? – все же кое-как взяла себя в руки я. – Творчество-шморчество! Ты с друзьями своими йельскими об этом поболтай, а со мной о чем-нибудь более земном, например, где будильник достать, который звонит погромче, чтоб завтра полшестого не проспять.

Я наконец замолчала. Он смотрел на меня все то время, что я говорила, смотрел прямо в глаза, уже не улыбаясь, подперев голову рукой и закрыв ладонью подбородок. Взгляд его, став мягким, светился нежно-голубым теплом и, мне показалось, даже нежностью.

Зачем я все это наговорила? Глупо, подумала я.

– Я тебе завтра позвоню в полшестого, разбужу, – абсолютно серьезно сказал он.

Я улыбнулась, это было мило. Хорошо все же, что я не расплакалась, было бы совсем по-дурацки. Мы замолчали. Я постаралась успокоиться и снять с себя напряжение и досаду спора.

– Я понимаю то, о чем ты говоришь, – сказал наконец Марк. – Я знаю это ощущение. Оно вызывается не только эмиграцией, но и многими другими, вообще любыми поворотными событиями.

Лицо его, все так же лежащее на ладони, склонилось теперь ближе к столу, и взгляд сосредоточился на хлебном мякише, который он катал двумя пальцами.

– Видишь ли, – он говорил как бы самому себе, – любой большой шаг в жизни человека есть отступление, которое зачастую приводит к потере. Не только эмиграция, но и рождение ребенка, смена профессии, что еще? наверное, женитьба – вообще любое значимое движение, которое совершает человек, отбрасывает его назад, каждого по-своему, но все равно отбрасывает, лишает чего-то. Либо привычного стиля жизни, либо интересов, либо системы ценностей, планов, надежд, да чего угодно. В какой-то момент начинает казаться, что потеряны время, силы, что для восстановления, возвращения в исходную позицию потребуется вся длина оставшейся жизни. Но это ошибочное ощущение, и дело даже не в том, кто восстанавливается быстрее, а кто медленнее, а в том, что некоторые выходят из своего отступления в результате более сильными, чем были прежде.

То есть они, кто возвращаются, сразу перескакивают прежние, исходные позиции, переходя как бы на новый виток спирали.

– Как Монголия из феодализма в социализм, – перебила я его еще заученным в школе. Я опять начала злиться: ну зачем он снова возвращается к этой теме?

– Что? – не понял он.

– Нет, ничего, – мотнула головой я.

– Понимаешь, кого-то отступление отбрасывает назад навсегда, а кого-то – обогащает и поднимает над теми, кто не знал поражения.

– А поражение-то здесь при чем? Поражения-то вроде не было, – опять съехидничала я.

– Ну ладно, – наконец-то он понял, что разговаривать со мной бесполезно, – давай закончим пока.

– Да, давай закончим. Только один вопрос, – как бы вдруг спохватилась я.

– Конечно, – согласился наивный Марк.

– Ну-ка, признавайся, сколько детей ты успел народить, и все небось от многочисленных законных жен.

Он пожал плечами, не понимая.

– Откуда же ты так качественно про отступления набрался?

Я вдруг поняла, что скорее злюсь, чем шучу. Он тоже понял это.

– Хорошо, давай закончим, – снова согласился он и добавил: – Ты пойдешь сегодня ко мне?

– Нет, – ответила я, – я лучше сегодня к себе, в свое отступление, а то чего-то не обогащалась давно. Пойдем, а?

Мне действительно хотелось уйти побыстрее, а то я чувствовала, что мы можем поругаться, вернее, я могу. Мы встали из-за стола и направились к выходу. Уже на улице, перед моим вечно поникшим домом, он притянул меня к себе, обнял и сказал мягко:

– Я знаю, что был нетактичен сегодня. Понятно, что по больному, но я должен был все это сказать. Ты делаешь ошибку, я уверен. Обещай мне, что подумаешь, о чем мы говорили, ладно?

– Обязательно, – скороговоркой выдавила я, повернулась и стала подниматься по ступенькам к подъезду. Знает, что по больному, а все равно продолжает, подумала я, спиной чувствуя, что он смотрит, как я открываю дверь. Я открыла ее и вошла внутрь, так и не обернувшись.

Глава пятая

Смешно было то, что Марк действительно позвонил мне следующим утром ровно в полшестого, и голос у него был заспанный и оттого особенно теплый и милый.

– Давай вставай, пора, полшестого, – чуть-чуть заплетающимся языком пробурчал он.

– О, – я потянулась в постели, – я могла еще десять минут поспать.

– Ты же сказала: в полшестого, – все так же невнятно сказал Марк.

– Ладно, встаю, – согласилась я трезвея. – Счастливчик, ты-то небось еще спать будешь.

– Конечно, буду. В такую рань встают либо сумасшедшие, либо одержимые.

– Я одержимая, – выбрала я из двух.

– Кстати, – вдруг его голос зазвучал совершенно нормально, без намека на сонную раслабленность, – освободи себе субботу. Мы приглашены на вечер.

– На вечер? – удивилась я. До этого мы ни разу никуда не ходили, встречаясь, только чтобы увидеть друг друга. – Куда?

Мне стало любопытно.

– Какая тебе разница? Приглашены. Давай вставай, а то опоздаешь. Целую.

– Целую, – машинально ответила я и повесила трубку.

Как ни странно, но почему-то тот дурацкий разговор в кафе запал мне в душу. Возможно, потому, что это был первый случай, когда Марк был напорист, почти агрессивен со мной и не побоялся сказать неприятное. «А что, если, – вдруг неожиданно предположила я, – что, если он прав?»

Не то чтобы все эти науки, которые я изучала, очень раздражали меня, скорее они оставляли меня равнодушной. Если честно, я никогда не задумывалась, что всей этой занудностью мне придется заниматься всю оставшуюся жизнь. Не потому, что мне эта мысль была непонятна, чего же может быть проще, а просто я вообще никогда не думала в терминах «всей жизни». Ну учусь, ну закончу когда-нибудь, через несколько лет, ну, наверное, пойду работать, ну, начну зарабатывать – и все, и на этом фантазия и мечта останавливались, потому что дальше и не стремились. Даже день окончания университета маячил в таком расплывчатом отдалении, что думать о нем, казалось, все равно что думать о следующей жизни, в которой я буду, может быть, кротом, хотя все же лучше белкой, хотя бы хвост пушистый.

Но после разговора с Марком я вдруг представила, что мне на самом деле придется до бесконечности заниматься этой смертельно одинаковой бухгалтерией, хоть назови ее экономикой, и сразу такая тошнотворная скука охватила меня, что я бы предпочла действительно стать кротом, или белкой, или кем мне там полагается, прямо сегодня. Не то чтобы я думала обо всех этих теориях, о которых говорил Марк, о всяком там творческом парении и прочих красивостях, а просто горизонт моего жизненного планирования отодвинулся, и я представила себя в будущем, там, где никогда почему-то до этого себя не представляла.

«Но, с другой стороны, – подумала я, – а что не занудно, что вызывает у меня одухотворенный восторг?»

И честно призналась: ничто, во всяком случае, ничто из того, что я знаю.

В школе я всегда училась хорошо, все давалось мне более или менее одинаково легко, я ничему не отдавала особого предпочтения, может быть, только к десятому классу – косметике.

В институт в Москве я поступила в тот, в котором, чего греха таить, имелись прочные знакомства. Романтическая идея призвания, так яростно проповедуемая в школе, как и все другие проповедуемые в школе идеи, в меня не запала. Сама идея призвания, особенно для «будущей женщины», казалась тогда, в той стране абсурдной.

В процессе своего незаконченного высшего образования я иногда с интересом наблюдала за незначительной группкой очень увлеченных не то радистов, не то программистов, вечно озабоченно обсуждающих всякие транзисторы и прочие острые и колкие железки, но наблюдала за ними скорее с анатомическим, чем с практическим интересом. Они, надо сказать, хоть и вызывали у всех нормальных людей, и у меня в том числе, уважение своей замкнутой увлеченностью, но я все же подозревала их... хотя даже не понятно, в чем – может быть, в отсутствии гармоничной полноценности.

Так что к субботе, к моменту, когда Марк заехал за мной, моя новая жизненная позиция выглядела приблизительно так: хорошо, я не хочу заниматься этой уже осточертевшей мне бухгалтерской гнусностью. Но чего же тогда я хочу?

По домофону голос Марка звучал привычно, как будто мы с ним почти не поссорились несколько дней назад. Когда он появился в дверях и я взглянула на него, мой взгляд беспомощно заметался, пытаясь то разом охватить его всего, то выделить отдельную деталь, но, как замороженный, не в силах был вырваться из поля притяжения, создаваемого его фигурой. Лицо мое, наверное, выражало комическое изумление и растерянность, что добавляло всему моему виду неподдельную искренность.

– Марк, – протянула я, – это ты?

Марк смущенно улыбнулся и развел руками. Он был в черном фраке, в блестящей белизной рубашке с жабо и, что было умильнее всего, в бабочке.

– Неужто это так серьезно? – с неподдельным испугом спросила я.

Я никогда не видела его таким прежде. Когда мы встречались, он всегда был в джинсах и в рубашке со свободным воротом или в свитере – смотря по погоде. Более того, вид у него был не то что небрежный, а скорее вид человека, не обращающего внимания на свою одежду и к тому же подчеркивающего это. Мне и в голову не приходило представить его даже в костюме с галстуком, не то что во фраке. В моем воображении он ассоциировался только с этим неформальным, чуть артистическим образом, который, в общем-то, был мне привычен и нравился. Но сейчас он выглядел совсем иначе: картинка из журнала, образ из телевизионной передачи про роскошную жизнь – изящный, броский, светский и потому так очевидно не соответствующий убогой обстановке моей одинокой квартиры.

– Марк, – сказала я, потихоньку приходя в себя, – для нас нет счастья в этой жизни.

– Почему? – спросил он, принимая мой тон.

– Мы с тобой самая что ни на есть неравная пара. У меня нет шансов дотянуться до тебя.

– Мы купим тебе фрак и сравняемся, – предложил он.

Это меня успокоило. Я подошла к нему, подняла руки и, чтобы они кольцом сошлись на его шее, потянулась вверх, даже приподнялась на цыпочки.

– Нет-нет, не наклоняйся, – предупредила я его движение мне навстречу, – я сама, – и почти вплотную приблизилась к его лицу. – Марк, – несчастным голосом прошептала я, – а что, если они не продают фраки для женщин? Мы тогда пропали.

Мои губы лишь чуть коснулись его кожи, а руки на шее разомкнулись, и одна, передвинувшись чуть повыше и погрузившись в теплую густоту его волос, позволила второй соскользнуть на его грудь и продолжить скольжение вниз, ощущая каждую мышечную неровность его тела и отдавая свою, заряженную несколькими днями разлуки, энергию и теплоту.

– Во сколько нам там надо быть? – заговорщицки тихо спросила я.

– Ты чудесная, – сказал он. – Я так соскучился. – Он все же наклонился, и его губы нежно и влажно пробежали по моей шее. – Но нам надо ехать, мы не можем опаздывать.

– Ну на секунду, – прошептала я.

Он покачал головой.

– Нам надо ехать, – повторил он.

Я опустила руки и отступила на шаг.

– Вот. Вот он, пример прагматичной Америки. Вот о чем меня предупреждали бдительные товарищи, – громко сказала я и, резко сменив тему, развела руками и сказала: – Но мне действительно нечего надеть. Я не знала, что этот вечер такой важный, ты мне не сказал. Впрочем, если бы я и знала, мне все равно нечего надеть.

Я не кокетничала, с одеждой действительно приключилась обычная беда. Я ходила от гардероба в ванную и назад к гардеробу раз десять, вытаскивая разные, заведомо обреченные юбки, кофточки и рубашки, потом снова шла в ванную примерять их, ища хоть какую-нибудь разумную комбинацию.

– Ну все, – сказала я обессиленно и в отчаянии рухнула на кресло, – я никуда не поеду.

– Ну что такое? – как бы успокаивая ребенка, проговорил Марк.

Все это время он терпеливо и не без интереса рассматривал жалкие результаты тщетных моих изощрений.

– Ты же видишь, мне нечего надеть.

– Тебе сколько лет? – вдруг неожиданно спросил Марк.

«Кстати, – подумала я, – а ведь он действительно не знает моего возраста. Ведь он никогда не спрашивал, а я не говорила».

– Скоро двадцать два, – настороженно созналась я. – Это много или мало?

Он улыбнулся, по-моему, от удовольствия.

– Это мало, – заключил Марк. – Это настолько мало, что ты можешь вообще ничего не надевать, – попробовал пошутить он.

– Так ведь холодно будет, – заканючила я.

– Тогда надень вот ту черную юбочку, которую ты примеряла, эту блузку с декольте и белый пиджак. Самой юной после тебя женщине будет лет на двадцать больше. Ты в любом случае вне конкуренции.

– Ты чего? Юбка короткая слишком.

– Нормально, – одобрил Марк. – У тебя красивые ноги. Поверь мне, все только на тебя и будут смотреть. У тебя туфли на каблуках есть? – спросил он.

– Недооцениваешь, значит, – надменно произнесла я и, подумав про единственные туфли, которые купила еще перед отъездом из Москвы, добавила с вызовом: – Не иметь туфель! До такого я еще не опустилась! Но всю ответственность за мои голые колени ты берешь на себя, – погрозила я ему пальцем, собирая указанные вещи и направляясь в ванную.

– Беру, беру, – с готовностью крикнул он мне из комнаты.

– А краситься можно? – крикнула я в ответ.

– Обязательно, – откликнулся он. – Только быстро, а то мы действительно опоздаем.

– Ну, вот где я все компенсирую, – сказала я себе, подходя к зеркалу.

Когда я вышла из ванной, одетая и накрашенная, я встретила теперь уже его изумленный и оттого еще более лучистый взгляд, и он сказал почти серьезно:

– Может, действительно никуда не поедет?

– Нет, – ответила я решительно, – у тебя был шанс, ты его упустил. Теперь я хочу на бал.

Мы спустились вниз, и Марк открыл ключом низенькую дверцу «Порше».

– Это твоя машина? – почти выкрикнула я, делая ударение на каждом слове.

Он опять смущенно улыбнулся, как тогда, когда зашел в мою квартиру.

– Так ты, оказывается, буржуеныш, – сказала я и поняла, что прозвучала не так задорно, как я хотела того. – Вообще я про тебя ничего не знаю. Ты кто? Неаполитанский принц, который инкогнито соблазняет молоденьких девочек?

– А что, если принц, ты меня больше любить будешь? – неуклюже увернулся он от моего проницательного вопроса.

– Я всегда говорила, что принцы самые закомплексованные люди на свете. – Я выдержала небольшую паузу. – После принцесс, конечно.

Я вдруг подумала, что ведь на самом деле про него ничего не знаю. Ни что он делает, ни чем зарабатывает. «Но, – одернула я себя, – какое это, в конце концов, имеет значение?»

Мы проехали минут десять молча.

– Я хотела поговорить с тобой, – наконец сказала я.

Я действительно собиралась начать этот разговор в первый удачный момент.

– Помнишь, мы говорили о моей учебе. Ну, о том, что она мне неинтересна?

Он кивнул головой.

– Я, как и обещала, думала об этом и решила, что, наверное, в чем-то ты прав.

Он улыбнулся, то ли тому, что я думала, как он и просил, то ли тому, что он прав.

– Но вот что меня смущает и что я хотела спросить. Смотри. – Я говорила медленно, как часто говорил он сам, осторожно подбирая слова. – Допустим, ты прав и мне не надо заниматься тем, чем мне не нравится, но смотри, сейчас я уверена, что, когда закончу, я смогу найти работу и зарабатывать. А есть куча профессий, которые, – я замялась, – для души, что ли, но для которых нет работы.

– Конечно, ты права. – Он согласился сразу, как бы не раздумывая. – На некоторые специальности спрос больше, да и оплачиваются они лучше, чем другие. Однако здесь есть хитрость, не такая уж, впрочем, хитрая. Заключается она в том, что человек, который очень хорош в малооплачиваемой работе, в большей мере востребован и, соответственно, зарабатывает больше, и иногда значительно больше, чем человек, который слаб в своей высокооплачиваемой профессии.

Голос его снова звучал поучительно, как будто он читал лекцию перед подростками, выбирающими тернистую дорогу в жизнь. Но почему-то это не раздражало меня так, как во время нашего предыдущего разговора.

– Сейчас я тебе скажу нечто, что не является социально корректным утверждением и что не очень пропагандируется перед широкими массами...

Я оторвала взгляд от надвигающейся в лобовом стекле дороги и с любопытством перевела его на Марка, так как в принципе я обожала социально некорректные утверждения.

– Творческих людей очень мало на этой земле. Под творческими я понимаю не образованных, не интеллигентных, не эрудированных и даже не способных, даже не талантливых, а именно творческих – тех, кто может что-то придумать, что-то создать, подойти с нестандартной, новой стороны. Короче, кто может творить.

Это не было самым социально некорректным утверждением, которое я слышала в своей жизни, и поэтому я осмелилась спросить:

– Разве в таком случае талант и творчество не одно и то же? Ты почему-то разделил их.

Он опять улыбнулся.

– Каждый творческий человек – талантлив, но не каждый талантливый человек – обязательно творческий. Поэтому творческих людей значительно меньше, чем талантливых.

– Что-то я не очень улавливаю границы, – упрямо повторила я.

Я почувствовала, что опять пытаюсь спорить с ним и доказать, что хоть в чем-то не согласна с ним и хоть в чем-то он не прав. Наверное, его менторский давящий тон начинал опять раздражающе действовать на меня.

– Ну смотри, допустим, кто-то родился с талантом спортсмена – атлетически сложенный, гармонично сбалансированный, с хорошей реакцией и так далее. Он, наверное, при наличии всего прочего может стать хорошим, скажем для простоты, футболистом. Но он не станет исключительно хорошим, если у него нет таланта творчества, если он не творит на поле, не создает каждый раз или пусть хоть иногда – каждый раз трудно – что-то неожиданное, новое, чего никто не ожидает. А если на поле есть человек, который, может быть, менее атлетичен

или, скажем, бегают медленнее, но имеет этот талант творчества, то он, наверное, стоит, я имею в виду и материально, но не только, больше, чем другие, более быстрые мальчики.

– Это понятно, – нехотя согласилась я. – Хотя пример из футбола не самый для меня показательный.

Я все же нашла к чему придраться.

– Извини, – сказал Марк. – Так вот о чем я. – Он задумался на секунду, как бы ловя нить мысли. – Да, творческих людей мало, – вспомнил он то, с чего начал, – но еще меньше тех, кто нашел себя, нашел то самое место, где смог максимально проявить свои способности. То есть таких счастливых случаев единицы. Для творческого человека не найти себя, не реализоваться – трагедия. Откуда, ты думаешь, берутся очереди в кабинеты психиатров?

Я пожала плечами и сделала это вовсе не из кокетства, а потому, что на самом деле не знала ничего про очереди в эти самые психиатрические кабинеты.

– Но творческий человек, попавший в правильное для себя место, – жемчужная редкость и ценится очень и очень. Поэтому, малыш, я наконец подхожу к ответу на твой вопрос.

Наконец-то, подумала я и засомневалась, сказать это вслух или нет, и решила сказать. Но Марк не отреагировал, и я решила, что могла и промолчать.

– Творческий человек в непрестижной профессии в результате добивается большего, чем обыкновенный человек в престижной профессии, по той причине, что он выходит за рамки этой профессии. То есть, например, творческий портной скоро перестает быть портным, а становится модельером, и лучшим модельером, чем другие, простые модельеры, которые с самого начала были модельерами. В результате он получает куда как больше, чем, скажем, тот же экономист, который принадлежит к изначально более оплачиваемой профессии.

Он замолчал. Мы оба какое-то время молчали. Марк затормозил у светофора.

– Так, куда тут ехать? – задумался он вслух. – Кажется, направо, – ответил он сам себе. – А потом, малыш, я знаю, это будет звучать кощунственно для тебя сейчас, но поверь мне и поверь, что потом это станет для тебя очевидным: деньги – это, конечно, важно, но, помимо них, есть еще другие, не менее важные факторы, такие, как кайф от реализации себя или кайф от пребывания в подходящей для тебя социальной среде обитания. Опять же, поверь мне – если ты не врожденный, скажем, программист, тебе будет скучно в среде программистов, а через какое-то время – тошно, тогда как программисту будет через какое-то время тошно в среде, скажем, искусствоведов. И это важно, потому что если ты проводишь на работе восемь часов в день, что составляет треть суток, то ты хочешь, чтобы тебя окружали подходящие для тебя люди с подходящими, по твоим понятиям, интересами.

Он опять замолчал.

– Знаешь, – сказала я, – ты, конечно, все правильно говоришь, но ты так серьезно развиваешь, в общем-то, понятные и иногда, только не обижайся, очевидные мысли.

Я не знаю, зачем я это сказала, наверное, опять чтобы позлить его за такую менторскую самоуверенность. Но даже если мне это и удалось, то виду он, во всяком случае, не показал. Он помолчал, а потом сказал спокойно, впрочем, все таким же гнусным тоном:

– Во-первых, в этой жизни все достаточно просто. Мы ведь не говорим о квантовой физике или микропроцессорных чипах, мы говорим о вещах, определяемых здравым смыслом. К тому же революционные идеи рождаются Шекспирами и Эйнштейнами один раз в столетие, а может быть, еще реже, а все остальное достаточно просто и является как бы доводкой идей Шекспира или Эйнштейна – это даже в сложных науках так. Но мы с тобой-то сейчас не претендуем ни на что революционное, просто так – нашу жизнь обсуждаем. Во-вторых, не относись к простоте свысока. Типичная ошибка как раз в том, что люди не задумываются о сложности простых вещей. Смешно, хотя печально смешно, то, что люди совершают ошибки в той или иной ситуации не потому, что ситуация сложна и оттого им недоступна, а наоборот:

ситуация часто проста и вполне доступна, просто человек не дает себе труда задуматься и разобраться в ней и именно потому ошибается.

Марк вдруг улыбнулся, и сразу как-то голос его стал мягче, потеряв нотки поучительной занудливости.

– Однажды, несколько лет назад, – казалось, он совсем расслабился, – скорее много лет назад, я слушал по радио комментарий какого-то хоккейного специалиста. Вдруг слышу, он говорит: «Для того чтоб забросить шайбу в ворота, надо, чтобы шайба была направлена в створ ворот». Я услышал это и думаю, что за ерунда, это же очевидно, и ежу понятно: чтобы забить гол, надо, чтобы шайба попала в створ ворот. Зачем об этом по радио говорить, да еще выдавать себя за хоккейного специалиста, это же смешно. Но почему-то его простота вдруг запала в меня, и я иногда не то что думал, а скорее вспоминал тот радио-комментарий.

И вдруг однажды до меня дошло, что простота эта не такая уж и простая и определяет всю игровую хоккейную стратегию. Потому что один подход – быть изощренным, делать разные финты, обманывать вратаря – может всех удивить, но если при этом не попадаешь в ворота, то, как бы все ни восхищались твоими финтами, гола – цели игры – не будет. А можно просто, не мудрствуя, незамысловато, может быть, даже и не сильно бросить, и, если попадешь в створ ворот, глядишь, и шайба как-нибудь влетит в сетку.

И может быть, подумал тогда я, одна тактика игры лучше, чем другая, а может быть, наоборот, но это не имеет значения. Важно то, что эта, кажущаяся такой очевидной, и на самом деле такая очевидная фраза, услышанная мною по радио, определяет стратегию игры, принцип ее построения.

И еще я понял, что человек, который высказал ее, действительно профессионал и специалист в области хоккея и что он, я уверен, долго думал над вопросом, тогда как мне ничего подобного никогда в голову не приходило и не могло прийти именно потому, что я не специалист. Но самое главное, что я понял тогда, – не надо относиться свысока к простоте. Простота часто ускользает от нас, скрывая неожиданную глубину, и от нее зачастую многое зависит.

Все это время, пока он говорил, теперь уже совсем мягким голосом, будто рассказывая сказку, я вглядывалась в его лицо и вдруг поняла, наверное, в первый раз за все месяцы нашего общения... Я в первый раз поняла, что этот человек, который был так приятен мне и как собеседник, и как любовник, и как просто товарищ, с которым хорошо находиться рядом, на самом деле несет в себе и глубину, и опыт, и знание, о которых я даже не подозревала. Я вдруг осознала, что разделяют нас не только годы, но, вместе с ними, и пропасть в понимании жизни, которое эти годы приносят. Что, наверное, случались в жизни его события и эмоции, не случившиеся еще со мной и давшие ему возможность думать о таких вопросах, о которых я никогда не задумывалась, потому что они просто не приходили в мою голову, не были в рамках моего жизненного опыта.

Я вдруг почувствовала приступ особенной, ранее незнакомой нежности – странно беззащитной, оголенной и оттого еще более чувственной, готовой вылиться в какое-то особенно проникновенное действие, еще не определенное мной и потому еще не нашедшее своего выражения.

– У тебя все время слишком мальчишечьи примеры, не самые доступные для меня, – сказала я улыбаясь. – И термины странные, вот эти, как ты их назвал, хоккейные винты, что ли.

Я замолчала и, больше не в силах сдерживаться, запустила руку в его волосы, не найдя ничего лучшего, чем выразить себя в этом не самом замысловатом движении.

– Ты странный, ты знаешь это?

То ли рука моя, то ли голос все же выплеснули скопившийся во мне заряд нежности, но Марк вдруг резко рванул машину к тротуару и остановился. Он перегнулся ко мне, и я услышала чуть сдавленное дыхание.

– У тебя помада при себе? – выдохнул он, и я увидела даже в подступающем с улицы полумраке мгновенно меняющийся цвет его глаз.

Я не почувствовала ни его губ, ни языка, ни запаха его возбуждения, я больше вообще не способна была что-либо чувствовать. Потому что в голове моей вдруг помутилось, и незнакомая по прежней жизни, дурманная, почти материально осязаемая теплая волна поднялась откуда-то из недр моего тела и ударила в виски и в глаза, и сознание мое медленно качнулось и расплылось, стало неосяземо тонким и рассеялось по всему телу, перейдя в новую, неожиданную субстанцию, и так и не вернулось в обычное состояние, даже когда он отстранился и откинулся на свое сиденье – тоже с вполне ошарашенным видом.

Глава шестая

Я действительно выглядела нелепо в небрежном своем наряде на фоне непривычной для меня роскоши этого вечера, вернее бала, среди солидных мужчин, почти неотличимых в образии фраков, и женщин, каждая из которых, наоборот, бросалась в глаза волнующей изощренностью своего вечернего платья. Как только я вошла в зал увитого плющом особняка, мгновенно оценив крайне неблагоприятную для себя обстановку, я в сердцах прошипела Марку на ухо:

– Вернемся домой – я тебя убью.

– Не могу дождаться, когда мы вернемся домой, – постарался отделаться он глупой шуткой, хотя я, конечно, не шутила, и он, заметив это, добавил: – Не нервничай, ты восхитительна, прекрасна, очаровательна. Ну что мне еще сказать, чтобы ты поверила.

– Нет, ты это все специально подстроил, – бормотала я, пытаюсь как можно незаметнее одернуть юбку, чтобы она хоть как-то дотянулась до верхних костяшек коленок, но при этом чтобы пояс ее не опустился ниже бедер. – У тебя какие-то гнусные цели, ты специально хотел меня напоказ выставить, – продолжала злиться я.

– Малыш, не нервничай, – повторил он. – Ты здесь самая молодая и вообще самая-самая, а знаешь, какие у тебя ноги? Скрывать их – преступление. Ты думаешь, отчего они все в длинных платьях?

– Ладно, ладно, лапшу-то на уши другим вешай, – не унималась я.

На меня действительно одинаково пристально смотрели представители обоих полов, и, если честно, я не могла понять – с подозрением смотрели или с жизнерадостным интересом. В любом случае это многозначительное внимание в восторг меня не приводило.

Мы подошли к сервированному столу, и Марк взял мне легкий коктейль и что-то себе. Выяснилось, хотя мне уже ничто не казалось странным, что его многие знали – останавливались, здоровались, расспрашивали. Марк каждый раз представлял меня, и каждый раз я обменивалась рукопожатиями и говорила то, что говорят при знакомстве, неестественно широко улыбаясь, смеясь неостроумным шуткам и пытаюсь заставить себя не смотреть вниз, на бесстыжий край своей юбки.

Люди в зале были разного возраста, от «под сорок» до очень стареньких. Они сбивались в тесные кучки, и по доносившимся оттуда жизнерадостным возгласам можно было судить, что они просто тащатся друг от друга.

Не могу сказать, чтобы мне было скучно, – все же новая обстановка, да и смешные дядечки попадались, но и безумно весело мне тоже не было.

В группе, к которой прибились мы, вернее я, так как Марк естественным образом интегрировался в нее, какой-то мужик, безумно интересный, больше похожий на яхтсмена, в одиночку переплывшего Атлантику, чем на ученого, рассказывал о том, как где-то в Сахаре под песком нашли новую пирамиду высотой, если с нее счистить все наслоения, около ста пятидесяти метров. Внутри ее, в саркофаге, обнаружили еще вполне свеженькую мумию очень хорошенькой царицы. Он так и называл ее «царица», и, так как имя ее еще не определили или не придумали, создавалось впечатление, что она его персональная царица, а он ее подданный. Такая фамильярность вносила дополнительное личностное ощущение, и царица ассоциировалась именно с этим сахарным исследователем, и даже можно было предположить какую-то, чуть ли не подозрительную, связь между ними – так бережно он о ней говорил. Если без иронии, то было на самом деле интересно, чувак сам участвовал в раскопках и рассказывал так образно, что ему хотелось позавидовать и упросить взять с собой обнаруживать новые пирамидные лежбища хороших самодержавок.

По тому, как Марк подключился к разговору, иногда очень специально – что-то насчет презервации саркофага и прочее, с непонятной, во всяком случае мне, терминологией, я поняла, что, как это ни удивительно, темой он владеет. К тому же, не имея возможности самой определить глубину его познаний, я заметила, что обветренный мужик говорит с ним если не с уважением, то и без всякого профессионального превосходства. Что запутало меня полностью, так это то, что Марк стал приводить цитаты из каких-то специальных археологических журналов, о которых я, естественно, никогда не слышала, называя, помимо терминов, имена авторов статей, и собеседник его, достав ручку, сделал пометки в своей записной книжке.

Впрочем, все выглядело вполне мирно, они не спорили, и я подумала, что Марк не пытается как-то специально продемонстрировать перед профессионалом свою, как я все же подозревала, любительскую ученость. Они беседовали минут двадцать-двадцать пять, и потом Марк вывел меня из плотной группы переминающихся с ноги на ногу людей.

– Так, – сказал он, – обед начнется через пятнадцать минут, а нам еще надо найти Рона. Он должен быть где-то здесь.

– Ну-ка, сознавайся, откуда ты все это про археологию знаешь? – потребовала я с напускной строгостью и, не дожидаясь ответа, добавила: – Сначала выясняется, что он на «Поршах» разезжает, потом – что в мумиях собаку съел. Собственно, меня интересует только одно: что ты еще такое-этакое знаешь и такое-этакое имеешь?

– Потом расскажу, – улыбнулся Марк, ясное дело, ему было приятно, что он произвел на меня впечатление. – Пойдем Рона искать.

Он взял меня за руку и повлек за собой.

– Вот так всегда: какого-то Рона придумал. Ну-ка, сознавайся, что у тебя с мумиями было? И главное, отвечай, где? Прямо в саркофаге? Куда мумиенка дел? С мамкой оставил? Нехорошо... – лепила я разную чепуху, отчего улыбка не сходила с его лица.

Рона мы нашли в другом конце зала, он тоже стоял в группе людей, вернее, будто вырос из нее, причем не только вверх, но и вширь. Доминировали не только его фигура, но также его голос, смех, движения. Все вместе они создавали вокруг наэлектризованное поле, попасть в пределы которого означало оказаться под влиянием притягательной энергии обаяния Рона, которую я почувствовала мгновенно и сразу приняла. Он был – нет, не толстый, – потому что масса его гармонично распределялась по всей длине далеко не миниатюрной фигуры, увенчанной крупной головой, такими же чертами лица и большой шапкой черных выющихся волос. Голос его, тоже громоздкий, выделялся тем не менее умеренным равновесием, а как бы постоянно подразумеваемая ирония, сконцентрированная в чуть смущенной улыбке, только оттеняла размашистость его фигуры и движений.

Он рассказывал что-то, по-видимому, очень смешное, и люди, стоявшие вокруг, заливались по-детски неискующим смехом, да и сам вид его, тоже чуть детский, смеха иного качества вызвать и не мог.

Мы с Марком подошли, когда он уже заканчивал свой рассказ и, увидев нас, замахал рукой: мол, подождите секунду.

– Чем ты их так насмешил? – спросил Марк, когда Рон вышел из круга и люди, создававшие его, сразу разбрелись, лишившись основы Ронина притяжения.

– Так, баловался, – и тут же переключившись на меня, представился: – Рон, а вы и есть Марина, о которой Марк так много рассказывал.

– Надеюсь, хорошо? – не нашла ничего лучше я, пожимая его руку.

– Исключительно, – ответил Рон.

– Ты видишь самого несерьезного математика, по крайней мере в Америке, – отрекомендовал мне Рона Марк. – Вернее, не так: самого несерьезного человека из всех серьезных математиков.

– Не слушайте его, Марина, несерьезный человек не может быть серьезным математиком. А так как я человек, безусловно, несерьезный, то и математик я несерьезный. Ну что, – он обратился к Марку, – сейчас эта лекция начнется. Мы сидим за самым дальним столиком, чтобы как можно хуже слышно было. Я постарался, – хвастливо добавил он.

– Не любит лекций, – кивнул на Рона Марк.

– Не люблю. Читать люблю, а слушать нет, – легко согласился Рон.

Мы подошли к столику, действительно находящемуся на самом отшибе, почти в слуховой недосыгаемости от подиума. Все в зале уже сидели или рассаживались, на столах стояли тарелки с легкой закуской.

– А о чем лекция? – спросила я.

– Понятия не имею, – сказал Рон. – Сегодня Альтман говорит. Небось шутить про свою физику будет и денег на нее просить.

– На кого? – не поняла я.

– На физику, – пояснил Рон. – Они всегда на таких выступлениях на свои проекты денег просят. Здесь тьма журналистов, и пара людей из Госдепа, и конгрессмен из комиссии по науке.

– Ну, все же лауреат Нобелевской премии, – заметил Марк.

– Никто и не спорит, – сказал Рон, слегка ерзая на стуле, как бы пристраивая его под себя. – Кресла у них какие-то маленькие, – недовольно пробурчал он. – Я надеюсь, перекусить-то они сначала дадут, на голодную башку какая уж тут лекция, – сменил он тему и основательно осмотрел закуски. – Я на днях новую теорию придумал о дискретности человеческой жизни, – выдал он почти без перехода, кладя в рот розовый кусок лосося. – Считается, что человек живет одну непрерывную жизнь, плавно переходя из одного этапа развития в следующий, из младенчества – в детство, половое созревание, подростковый период и так далее. Так?

– Ну, приблизительно так, – согласился Марк.

– Так вот не так.

– Это смелое утверждение, особенно для служителя точных наук, – перебил его Марк.

– Не для меня, – отмахнулся Рон. – Сравни себя теперешнего – сколько тебе? Тридцать шесть? – с собой же, но двадцатилетним, и скажи мне, что между вами двоими общего, кроме того, что у вас единое самосознание. Подход к жизни изменился, понимание и оценка жизни изменились, ощущение себя в жизни изменилось, ценности изменились, цели изменились, пути их достижения тоже изменились. Так? – опять спросил он.

– Продолжай, продолжай, – с удовольствием ответил Марк, как будто Рон действительно ждал от него одобрения.

– Проблемы, которые были тогда, сейчас тебя никак не волнуют, женщины, которые нравились тогда, сейчас тебя тоже не волнуют, более того, ты их и не помнишь. Ну, а если вспомнишь, то удивишься, как это тебя тогда угораздило на них глаз положить. В результате если ты вдруг сравнишь двух себя, то выяснится, что вы-два совершенно разных человека. Так?

На сей раз Марк промолчал, только кивнул.

– Но теперь сравни себя двадцатипятилетним и себя пятнадцатилетним. Опять же все разное – и интересы, и цели, и ощущения, и все остальное. Снова получается, что вы-два разных человека, ты двадцатипятилетний и ты пятнадцатилетний. Соответственно, между тобой теперешним и тобой пятнадцатилетним нет вообще ничего общего, два не связанных между собой человека. Мы можем опуститься еще дальше по дереву, так сказать, жизни и доказать, что аналогично нет связи между Марком пятнадцатилетним и Марком – пятилетним мальчиком.

К этому моменту Рон доел последнюю закуску, аккуратно утерся салфеткой и продолжал еще с большим, казалось, теперь уже сытым удовольствием:

– Теперь давайте введем термин «человеческая жизнь» и определим его не примитивным фактором физического рождения и смерти, как это обычно делается, а более сложно – уникальным набором жизненных атрибутов, или, иными словами, набором жизненных пра-

вил. Эти атрибуты включают и правила морали, и систему жизненных ценностей, и понимание жизни, и, кроме того, текущие заботы, интересы, цели и планы по их достижению и так далее. То есть мы говорим, что жизнь и ее уникальность определяются именно этим комплексным набором, который, если изменился достаточно, создает необходимые предпосылки для начала новой «человеческой жизни». Таким образом, ты, Марк, прожил не одну жизнь, дожив до своего возраста, а, как мы теперь знаем, как минимум четыре не связанных между собой жизни.

А что, подумала я, пожалуй, он прав. Какое отношение я сегодняшняя имею к себе московской? Никакого! Все изменилось во мне, я себя, скажем, пятнадцатилетнюю вообще не особенно помню. Я и вижу-то себя, когда вспоминаю, как бы со стороны, и это мое видение и есть то единственное, что нас-меня смотрящую и меня осматриваемую – связывает. То есть ничего. Нет, он точно прав.

– Дальше, – продолжал Рон, – мы можем дедуктивным методом построить зависимость, так сказать, независимости наших жизней, доказав, что если Марк тридцатилетний не связан с Марком пятнадцатилетним, то он не связан и с Марком шестнадцатилетним. Теперь мы интерполируем нашу зависимость и, следя внимательно, приходим к тому, что Марк теперешний также не связан с Марком тридцатилетним и, более того, Марк сегодняшний становится не связанным с Марком вчерашним. То есть мы делаем вывод, что Марк прожил не четыре, а множественное количество различных жизней, не связанных друг с другом. То есть, иными словами, Марк каждое мгновение умирает и каждое мгновение рождается свеженький Марк. При этом жизненные атрибуты, такие, как, например, система моральных ценностей, смещаются, и на это я обращаю ваше внимание особенно, потому что тут возникает сразу множество вопросов. Например, такой парадокс: если Марк недельной давности и сегодняшний – разные люди, то несет ли сегодняшний Марк ответственность за поступки Марка недельной давности? Но это, впрочем, вопрос к юриспруденции.

– Вот такой подход мне нравится, – сказал Марк.

– Единственное, – продолжал Рон, не обращая внимания на ремарку, – что связывает разные дискретные жизни одного и того же человека, так это самосознание и частичная общая память. – Он обвел взглядом поверхность стола с его уже пустыми тарелками и вздохнул от разочарования. – Они горячее принесут когда-нибудь?

– Вы, наверное, из своей последней жизни ушли, не перекусив, – не выдержала я.

Он посмотрел на меня внимательно, даже пристально, и я не вполне поняла, что стояло за этим взглядом, но замечание мое проигнорировал.

– Я, конечно, сейчас все упростил для краткости. Конечно, набор жизненных правил каждое мгновение не меняется полностью, а видоизменяется незаметно для, так сказать, невооруженного глаза. Более полная смена жизненных атрибутов, ведущая к переходу в следующую жизнь, происходит со временем, которое тоже может варьироваться в зависимости от условий, при которых происходит переход. Но в целом идея ясна. Что особенно интересно – вся эта теория достаточно просто формализуется. Я построил модель и определил массу интересных зависимостей, например, корреляцию между возрастом человека и циклом полной смены жизненных атрибутов, то есть то, что мы называем жизненными правилами, ну и так далее.

Он оглядел нас не просто лукавым, а вызывающе лукавым взглядом, и я вдруг засомневалась, а не навешивал ли тут этот толстячок-здоровячок длиннющей лапши на наши растопыренные ушки. В этот момент все же принесли еду, и он отстранился от стола, как бы освобождая пространство для официанта, чтобы тот смог протиснуть тарелку с чем-то обжигающе горячим и шипящим.

– Ну что, – сказал Марк, после того как Рон сосредоточился на еде и стало понятно, что изложение своей теории он закончил, – раскритиковать тебя?

– Давай валяй, души дерзновенную мысль, – ответил Рон, и я опять подумала, что, может быть, он все время просто дурачил нас или, по крайней мере, меня, а может, развлекал.

– Ну, во-первых, мне понравилось и звучит правдоподобно, но есть пара неточностей. Ты не учиываешь, что Рон в новой своей жизни зависит от Рона из старой жизни. Если с Роном в старой жизни происходят какие-то события, они оказывают влияние на нового Рона и, таким образом, формируют его. Так что существует еще одна связь между жизнями, помимо памяти и самосознания.

– Ну, это зависит от того, веришь ли ты в качества врожденные, то есть в гены, или в приобретенные, то есть в воспитание, окружающую среду и прочую социальную чушь. Если ты, вместе со мной, за гены, то события предыдущей жизни не имеют значения для жизни будущей, – произнес Рон как бы по ходу, как бы в добавление к заглываемой целиком какой-то длинной, но наверняка подводной океанской твари.

Вообще казалось, что тема перестала его интересовать, а если и продолжала, то, во всяком случае, значительно меньше, чем горячий продукт, оставшийся еще пока на его тарелке.

– Это уже как тебе будет угодно, – не стал возражать Марк. – Но не кажется ли тебе, что ты в своей теории не учел влияния памяти на сознание? Не кажется ли тебе, что текущее состояние нашей памяти, я имею в виду то, какой набор воспоминаний она содержит в данный момент, и определяет, по большому счету, состояние нашего сознания, или, в рамках твоих терминов, систему жизненных атрибутов. По мере продвижения по жизни содержимое памяти меняется, что-то вычеркивается, что-то заносится, и в зависимости от этого изменяется наше сознание, а с ним и состояние нашей жизни. Например, депрессию, наверное, можно диагностировать, проанализировав некий срез памяти, если это возможно, и обнаружить там много невеселых воспоминаний и совсем мало веселых.

– А не наоборот ли? Не изменяет ли сознание память, во всяком случае, в твоём примере с депрессией? – перебил Рон.

– Мы не знаем, что первично. Важно то, что, регулируя память, изменяя ее содержимое, восстанавливая какие-то потерянные ее куски и истребляя другие, мы можем воздействовать на сознание, то есть на то, что ты называешь жизненными атрибутами.

«Да, – подумала я, – это что-то новое. Чего эти ребята только не придумывают: то жизнь, которую живешь, вовсе и не одна, то я определяюсь тем, что помню. И непонятно, то ли они серьезно, то ли меня разыгрывают».

Я внимательно посмотрела на Марка. Если он и шутил, то делал это с вполне серьезным выражением лица.

– А это означает, – продолжал он, – что новая жизнь через память переплетена со старой. Это означает, что обе они не просто используют общую память, как ты говоришь, а связаны непростой зависимостью.

– Хорошо, – только и ответил Рон, и непонятно было, либо он согласен с тем, что сказал Марк, либо все сказанное его вообще не интересовало. Может быть, интерес его закончился с обретенным чувством сытости.

Я тут же вспомнила, что Марк, позвонив мне однажды после того, как мы не виделись несколько дней, сказал, что все эти дни вспоминает, как после совместно проведенной ночи он ушел утром по делам, оставив меня на пару часов одну. Когда же он вернулся, я открыла ему дверь, и, за неимением халата, на мне была его рубашка, надетая на голое тело и лишь слегка прикрывающая его. Но он был озабочен обычной утренней рутиной и потому еще, что события ночи не успели рассеяться в нем, сразу ушел на кухню и стал просматривать почту. И вот с тех пор он не может простить, что в своей тупой толстокожести упустил этот шанс, который, как всякий шанс, уникален и неповторим, невоспроизводим до конца, и что теперь он не понимает, как такое могло произойти. «Во всем виновата сытость, – добавил Марк. – Сытость не изощрена».

«Действительно, – подумала я сейчас, смотря на Рона, впрочем, не пытаюсь представить его в едва прикрывающей рубашке, – сытость не изощрена».

Между тем началась лекция, она, конечно, была популярной, но все же о квантовой физике, и потому я даже не пыталась вникнуть. Рон тоже отреагировал вяло, меланхолично, почти как я, хотя наверняка понимал куда как больше. Марк же, напротив, слушал с интересом и даже отправил записку с вопросом.

– Ты и в квантовой физике сечешь? – искренне удивилась я, когда человек на подиуме стал отвечать на вопросы, и зал немного оживился и стал шумнее, и я не боялась больше шептать в тишине.

– Марина, – как бы жалея меня, улыбнулся Рон, – этот человек, – он кивнул на Марка, – тем и отличается, что знает если не вообще все, то приблизительно все. Он тем и известен в народе.

– Откуда ты все знаешь? – подозрительно спросила я у Марка, но он промолчал, как бы давая Рону ответить за него.

– Иногда о причинах не надо задумываться, а надо просто принимать факты в себя.

И сама фраза, и тон были уже слишком ироничны, даже неприлично ироничны, даже резки. Во всяком случае, я приняла этот выпад на свой счет, и не могла оставить его без ответа, и поэтому вставила свое:

– Ну да, как горячую устрицу... – Я попридержала фразу, чтобы он не обжегся, и потом, когда поостыло, закончила утверждающе: – Через рот. В себя.

Я заметила, что Марк улыбнулся.

Глава седьмая

Уже в машине, по дороге домой, я, прокручивая в себе только что прошедший вечер, поняла, что он был удивительным и что я видела удивительных людей и слушала удивительные разговоры. Я подумала, что люди, встреченные мной сегодня, совершенно не похожи на тех, с которыми мне приходится встречаться в своей повседневной жизни, – на моих друзей и знакомых. Еще я подумала, что им, друзьям моим, да и мне тоже, никогда бы не пришло в голову рассуждать о дискретности жизни, или как это называлось, что если бы такая идея и пришла кому-то из нас в голову, то показалась бы нелепой в своей совершенной непригодности.

– Ты считаешь, – спросила я Марка, – он серьезно все это говорил?

– Кто? – не понял Марк.

– Рон. О дискретности жизни.

– Конечно, серьезно. Ему пришла идея, может быть, с философской точки зрения, абсурдная или банальная, а может быть, и нет, не знаю. Но интересно то, что он пропускает ее через свою призму, через которую он вообще смотрит на мир, – через призму математических моделей, и возможно, что, пройдя через нее и преломившись как-то причудливо, она вдруг станет вполне заслуживающей внимания.

– Но он говорил как-то, мне показалось, шутя, – сказала я.

– Он всегда так говорит. Это такое средство самозащиты. – Марк пожал плечами и повторил: – Я уверен, он был вполне серьезен.

– Странно, что он думает о таких вещах.

– Почему, ничего странного, – не согласился Марк. – В жизни есть много вопросов, над которыми мы обычно не задумываемся. Но на каждую, самую, казалось бы, никчемную проблему, которая только может существовать в мире, есть как минимум один человек, который эту проблему изучает, порой годами, и пытается решить. Это и определяет сбалансированность человеческого прогресса.

Мы замолчали и так, молча, проехали минут пять.

– Я еще хотела тебя спросить, – осторожно начала я. – Ты сегодня по дороге на этот вечер говорил о творчестве и прочих вещах. При этом, как мне показалось, ты как бы имел в виду меня. Так вот, я хотела спросить, почему ты думаешь, что все это имеет ко мне отношение? Я всегда считала, что я – самая обыкновенная. Где-то лучше, где-то хуже, но в целом я никогда в себе ничего такого, никакого дара не замечала, да и никто не замечал.

Он молчал пару минут, потом проговорил:

– Видишь ли, малыш, мне кажется, повторяю, кажется, что в тебе есть божья искорка, может быть, пока не пламя, а искорка, но каждую искорку можно раздуть. Это требует времени и труда, но это возможно. В тебе есть тот неожиданный подход к жизни, та неадекватность оценки и неадекватность реакции, которые – не всегда, но часто – являются сопутствующими признаками творчества, как, скажем, пироп сопутствует алмазу. Да-да, я не ошибаюсь: в тебе что-то есть, и жалко будет, если это «что-то» растратится впустую. Но, если я и ошибаюсь, ты тоже ничего особенного не потеряешь.

– Не поняла. Чего я не потеряю?

– Я знаю, я неясно говорю, подожди, я сейчас постараюсь сказать иначе. – Он замолчал. – В этой жизни существует множество различных уровней, я не имею в виду то, о чем Рон говорил, я имею в виду социальные уровни. Я не открою ничего нового, сказав, что стили жизни на разных уровнях отличаются, но, поверь мне, люди даже не представляют, как разительно они отличаются. И опять я не имею в виду материальную сторону, я говорю скорее о комплексном подходе.

Вот хороший пример, – эти три слова он проговорил неожиданно быстро, видимо боясь, как бы «хороший пример» не ускользнул от него, – ты только что спросила, серьезно ли говорил Рон о своей новой теории. Дело в том, что в обычной ситуации его мысли покажутся нелепыми, как и сам человек, высказывающий их, покажется нелепым. Но на его уровне они вполне законны, так как находящиеся на нем люди вообще часто думают о странных на первый взгляд вещах. Более того, положение Рона дает ему не только право на такие мысли, но и возможности их каким-то образом разрабатывать. Например, он имеет возможность строить математические модели, чтобы доказать свою идею. Скорее всего эта идея в данный момент для него просто игрушка, которая тешит его, но он может законно играть ею, взять, например, студентов в помощь, создать факультатив и так далее. Потом Рон, возможно, начнет обсуждать идею с другими людьми, которым, так как они находятся на том же уровне, и в голову не придет считать ее безумной. Забавной, ловкой игрой ума – может быть, но не безумной. Дальше, если захочет, Рон сможет написать статью, и его статус позволит ему опубликовать ее, и, кто знает, не станет ли его идея в какой-то момент вполне законным научным подходом. И так далее.

Марк оторвал взгляд от дороги и на мгновение перевел его на меня.

– Что я хочу сказать? Уровень, на котором находится человек, определяет и его интересы, и то, как он располагает своим временем, и его социальное окружение, и цели, и многое другое, что в конце концов определяет качество всей жизни. Но главное – только определенный уровень определяет свободу мысли и ума. У Рона он достаточно высок, и для него эта свободная игра ума естественна, тогда как для других – непозволительная роскошь.

Он замолчал, как бы оставляя место для моих возражений, но их у меня не было, я молчала, я хотела, чтобы он продолжал.

– Хитрость заключается в том, что на определенный уровень необходимо попасть сразу, так как очень сложно, скорее невозможно поменять его, особенно в такой устоявшейся системе, как наше общество. В этом-то и идея: сразу попасть именно на тот уровень, в котором будешь себя наиболее органично чувствовать, и точность попадания в данном случае исключительно важна, так как это – на всю оставшуюся жизнь.

Он опять сделал паузу, и я опять не проронила ни слова.

– Не надо думать, впрочем, что на уровне, на котором находится Рон, все люди одарены талантом творчества. Ничего подобного. Люди разные, попадают творческие, в основном – нет, хотя в его среде процент творческих выше, чем в среднем. Но, попав туда, способный ты или нет, ты в любом случае там и остаешься, так как перейти на другой уровень, как мы знаем, сложно. Поэтому любой человек, попав туда, будет пользоваться всеми привилегиями своего статуса. Теперь я возвращаюсь к тому, с чего начал: если у тебя, и я имею в виду тебя, действительно имеется та самая искорка, а я повторяю: мне кажется, что да, имеется, то чудесно, твое место там. Но если я ошибаюсь и ее нет – тоже ничего страшного, просто получишь удовольствие от присутствия.

Я продолжала молчать, так мы и доехали в тишине до самого дома. Какое-то неясное, смутное чувство поднималось во мне, и, хотя я еще до конца не смогла разобраться в нем, я ощутила нервное волнение, смесь возбужденного отчаяния и страха, как, наверное, перед прыжком с парашютом. Я знала, такое чувство всегда начинало тревожить меня в тот момент, когда я еще не понимала, нет, скорее нащупывала своей более животной, чем разум, интуицией, что что-то скоро изменится в моей жизни и что я уже сама подневолью стремлюсь к этой перемене.

Я должна признаться: этот вечер произвел на меня впечатление, но не фраками и вечерними платьями присутствующих, а непривычной расслабленностью людей. Вспоминая их, да и всю атмосферу вечера, я догадалась, что самое разительно непривычное для меня было ощущение общей беззаботности.

Нет, я понимала, конечно, что у них, как и у любых нормальных людей, полно повседневных и неповседневных забот, но эти заботы казались мне другого порядка, чем, скажем, мои или моих знакомых. Какие улетные фантазии завораживали меня в те редкие минуты, когда я могла заставить себя не думать о том, чем платить в следующий месяц за квартиру или лечь ли мне сегодня в три часа ночи либо, наоборот, прямо сейчас, в двенадцать, и проснуться в четыре утра, чтобы успеть подготовиться к занятиям? Позвонить Катьке и поболтать с ней полчаса, узнав у нее все последние сплетни и перемыв и без того давно стерильные косточки всем нашим близким и далеким знакомым. Или, если Катьки не было дома, взять какой-нибудь самый простенький детектив, чтобы не задумываться, и, включив какую-нибудь туфту по телевизору, не проникаться до конца ни тем, ни другим.

Мысль о дискретности хоть жизни, хоть чего другого, также, как информация о древних пирамидах или о каких-то там квантовых явлениях, не могла в принципе коснуться моего сознания, не потому, как я надеялась, что мое сознание было слишком упрощенно для них, а потому, что мысли эти не водились в среде обитания моего сознания. И наоборот, моему сознанию никогда не доводилось попадать в среду обитания подобных мыслей.

Я поняла, что существуют они как бы в разных плоскостях и пересечься им просто не представлялось возможности.

И не то, опять пришло мне в голову, что Катькины впечатления о ее мальчиках казались мне не стоящими времени или внимания, а просто не были они такими отвлеченными и потому беззаботными по сравнению с теми разговорами, что я слышала на вечере.

Глава восьмая

Я ходила, думая об этом, недели две-три, пытаюсь разобраться в своих ощущениях, пока они, неясные и расплывчатые, не выразились в одной короткой фразе: «Я не там».

Уже потом, через годы, я, анализируя процесс мышления, разобралась, как та или иная мысль находит во мне конкретную форму. Сначала, поняла я, и мысли-то никакой нет, а только неопределенное, зыбкое, только интуитивное ощущение, догадка, взявшаяся из ниоткуда или скорее из всего – в общем, не знаю. Это эмбрион будущей мысли, и не надо бояться, что он бесследно рассосется, так же, как и не надо пытаться его развивать искусственно – он никуда не денется, он внутри и требует, как любой эмбрион, естественного, нефорсированного развития.

Чуткая эта догадка может иногда перестать ощущаться, показаться потерянной, но не нужно беспокоиться, она не потеряется, она просто затихла и вернется, окрепшая и вызревшая. Со временем затаившееся чувство незаметно для нас самих перерабатывается, переваривается желудочным соком нашего сознания, и частички его, видоизменившись, как после химической реакции, оседают где-то на дне. Постепенно, скопившись в достаточном количестве, они склеиваются между собой, создавая единую массу родившейся мысли.

Но мысль эта, уже сформировавшись внутри, еще не умеет выйти наружу, так как не знает, как выразить себя. Тогда сознание снова принимается за работу, осторожно, на ощупь, как слепой в узком коридоре, пытается оно вписать мысль в пока еще неуклюжую словесную форму, практически никогда не добиваясь успеха с первых судорожных попыток. Только лишь потом, проговорившись и мысленно, и вслух, мысль находит, скорее пробивает, протаптывает ту единственную тропинку, которая дает ей самое предельное выражение.

Так вот, недели две или три понадобилось мне, чтобы однажды, когда я осталась ночевать у Марка, уже поздно, умиротворенная и расслабленная, лежа головой на его плече, так, чтобы ему было удобно откинутой рукой скользить по моей груди, вызывая этим дрожь идущей мурашками кожи, я сказала ему:

– Я поняла наконец: я не там.

– А где ты? – лениво отозвался он, думая о только что происшедшем.

– Нет, я не об этом, я вообще не о нас, – произнесла я. – Я о своей жизни вообще. Я просто не там.

– Ты не имеешь в виду – географически? – спросил он, и я догадалась, что он, умничка, понял, о чем я говорю.

– Не имею, – подтвердила я.

– Да, – сказал он, – ты не там.

Мы замолчали, но я знала, что он еще скажет что-то.

– Я тебе говорил – ты не там, – повторил он. – Знаешь, когда-то давно я прочитал одну притчу про птицу, которая хотела научиться быстро летать.

Я несколько раз повела головой, как бы для того, чтобы потереться щекой, а на самом деле – просто чтобы удобнее примоститься на его плече, ожидая рассказа. Я любила его истории, я привыкла к ним, даже стала зависима от них, но не болезненно, как от тяжелого наркотика, нет, скорее как от невесомо легкого.

– Так вот, эта птица постоянно искала пути для более скоростного полета, пробовала складывать по-разному крылья, придавая им новые аэродинамические формы, использовала всякие другие хитрости. История там на самом деле длинная, но в результате птица научилась летать так быстро, как обычные птицы и представить себе не могли. Кстати, они за это выгнали ее из стаи, но это так, к слову.

Я так сладко пристроилась у него на плече, и голос его, такой сейчас ровный, и рука его, расслабленная на мне, – все приносило умиротворение и безмятежное спокойствие. Я лежала

с открытыми глазами, и мне не хотелось спать; свежий, чуть пропахший тиной океанский воздух, перемешанный с вялыми ночными звуками города, лишь добавлял фантастическую правдивость его размеренному рассказу.

– Но дело не в этом. Дело в том, что однажды во время очередной тренировки – а птица эта только тем и занималась, что тренировалась, – она полетела так быстро, что как бы провалилась куда-то, и выяснилось, что там, куда она попала, в некое другое измерение, там уже живут птицы, те немногие, со всех концов света, для которых идея летать быстро была единственно важной в жизни. Более того, если какая-нибудь из них вдруг начинала летать качественно быстрее, она исчезала из данного измерения и перемещалась в другое, туда, куда попадают птицы, которые умеют летать еще быстрее. Так продолжалось до тех пор, пока избранные не начинали летать со скоростью мысли.

Марк остановился, я лежала, рассматривая на потолке медленно ползущие тени, и думала, что как бы мне ни был интересен его рассказ, но не он определяет сейчас этот поздний вечер. А определяют его скорее голос, интонации, успокаивающая теперь равномерность, они-то и создают ту уникальную среду, в которой мое тело открывает все миллионы своих поверхностных пор и впитывает, втягивает ими и голос Марка, и его скользящий по мне взгляд, и легкие прикосновения руки, да и сам ночной рассказ.

Да, да, догадалась я, это и есть самое главное: ведь любовь, и физиологическая, и эмоциональная, она ведь не про примитивные эрогенные зоны, да и не про первичные и вторичные половые признаки. Она как раз про такое редкое состояние, когда открываются бесчисленные кожные поры и именно они впитывают и тело любимого, и источаемую им энергию, но и не только. А еще голос, и взгляд, и тепло, да и весь загипнотизированный воздух пропитанной ими комнаты. Ведь только так происходит полное, предельное взаимопроникновение друг в друга – только через открытые любовью поры.

– Вот такая история, – продолжил Марк, – и хотя она в простой основе своей про самосовершенствование, я нашел в ней свою собственную мысль: бывают другие измерения, кроме того, в котором мы находимся, и мы можем даже не догадываться об их существовании. И еще, желание перейти в другое измерение не может являться целью, то есть может, но тогда она становится практически недостижимой. Единственная цель, – он повернул ко мне лицо, и его глаза оказались совсем близко, – для которой стоит учиться быстро летать, – это быстро летать. Понимаешь, она первична, и, только когда она достигается, происходит переход в новое измерение со всеми вытекающими жизненными благами. Но почти никогда наоборот. Иными словами: цель – подняться над собой, и только она, какой бы идеалистической и наивной она ни казалась, на самом деле приводит к успеху.

Он замолчал.

– Поздно уже, спи, – сказала я, почувствовав почему-то странный прилив нежности к нему, и протянула руку, и провела ладонью по его щеке. – Спи, любимый, – повторила я, почувствовав, что первая фраза не смогла выразить всю накопившуюся ласку, но, не удовлетворившись также и второй, я приподняла голову с такого удобного плеча и, подавшись вперед, предельно вытянувшись и прижавшись всею собой к его телу, прочувствовав каждой клеточкой его податливую упругость, так что будто снежная россыпь неожиданно сдвинулась где-то у позвоночника и растеклась морозной дрожью по спине, я поцеловала его в не умеющую спрятаться даже в темноте, чуть вибрирующую жилку на шее, так как выше было мне не достать.

Он еще сильнее прижал, почти сдавил меня освободившейся рукой, так что грудь моя больно вдавилась в его тело. И оттого, наверное, сердце на мгновение выскользнуло и, неловко метнувшись, стремительно пронзило что-то внизу живота, что заставило меня податься вперед и еще сильнее вжаться в бедро Марка самым своим краешком, и новая вспышка боли потонула в мутящей теплоте, захватившей всю меня – и тело мое, и сознание, и движения – и только позволившей мне прошептать:

– Нет, подожди, не спи еще.

Глава девятая

Через пару дней, когда Марк встретил меня после работы, мы шли вдвоем по уже почти ночной улице, и краснокирпичные дома, вобравшие в себя также старческие цвета пережитых столетий и увитые бородастым плющом, с ажурными балкончиками и полукруглыми башенками, создавали ощущение игрушечной нереальности. Улица была пуста, только редкие машины тревожили своими фарами и без того трепетный и неравномерный свет усталых фонарей. Мы говорили обо мне. Я сказала, что думала и приняла решение и что хочу попробовать и рискнуть, и черт с ней, с этой бухгалтерией. Он посмотрел на меня внимательно и спросил, решила ли я, на какой факультет хочу переходить. Я ответила, что это как раз я и не знаю, и мы оба засмеялись.

– Я знаю точно, что не хочу заниматься математикой, физикой, химией и прочей технической инженерией, – сказала я.

Он спросил:

– Это потому, что тебе не нравятся точные науки?

Я задумалась. Все же непросто выразить словами то, что скорее чувствуешь, чем понимаешь.

– Да нет, – произнесла я после паузы, – не то чтобы они не нравились мне, просто я к ним безразлична. Дело, наверное, в том, что я не вижу жизнь через формулы, функции и интегралы.

Марк согласился, но в голосе его было удивление. Он сказал, что это правда, что я очень хорошо сформулировала, и наклонился, и в виде одобрения поцеловал меня.

– Это правильно, – продолжил он, как бы размышляя. – Человек должен уметь выражать жизнь через то, чем он занимается, если он занимается этим серьезно.

И, помолчав немного, добавил, что такая я, однако, умничка, как здорово я сообразила, что это чудесная мысль и что он никогда не думал об этом именно в таком ракурсе. Мне вдруг стало неожиданно приятно от его похвалы, и я подумала, что вот так оно, тщеславие, доселе неведомое мне, и зарождается.

– Действительно, – сказала я, ободренная, желая развить успех своей мысли, – композитор выражает свое понимание мира через музыку, которую создает, тогда как музыкант передает свое восприятие, интерпретируя эту музыку так, как только он ее понимает. Так же и портной, наверное, выражает свое видение мира через костюмы, которые шьет. А математик выражает мир через формулы, футболист – через игру, – ехидно привела я наиболее привычный для Марка пример из спортивной жизни, – и так далее. И тут главное – найти ту среду, через которую удобнее всего передавать свое понимание мира.

– Ты действительно думала об этом, – сказал Марк улыбаясь. – И очень здорово придумала. Это отличная мысль.

Я ответила, что да, я действительно думала, что, видишь, я стала твоей хорошей ученицей, на что он сказал, что он здесь ни при чем, это просто мой нестандартный подход и нестандартная оценка жизни, о которых он говорил.

– Самое нестандартное в ней, – заметила я, дождавшись, когда он закончит нахваливать меня, – это то, что я так и не придумала, через какую среду хочу выражать свое, – тут я развела руками, как бы очерчивая шар глобуса, – понимание мира.

Мы опять заговорили о разных специальностях, и он спросил, как я отношусь к гуманитарным наукам, на что я ответила, что они мне симпатичны, как, впрочем, и сами гуманитарии, но заниматься ими я, наверное, не очень стремлюсь, так как мне всегда казалось странным, например, литературоведение.

Зачем, спрашивается, докапываться, что именно автор хотел сказать тем или иным текстом? Автор что хотел, то и сказал, и кому надо, тот поймет, а кому не надо, поймет по-сво-

ему. Не является ли это попыткой литературоведа, вернее общества, которому данный литературовед служит, подчинить своему мнению мнение читателя вместе с самим литературным произведением?

Я сама начинала понимать, что перебарщиваю, но ничего не могла поделать, уж очень мне сейчас хотелось порассуждать да поумничать.

– Или история. Ведь очевидно же, что историк подделывает прошлое именно под свою, весьма необъективную точку зрения, и таким образом получается не одна общая история, а много разных – столько, сколько книжек о ней написано. Знаешь, – я перевела дух, почувствовав, что уж очень впала в обличительный раж, – чем мне всегда хотелось заниматься? Философией. Нет, скорее, теологией. Я хотела бы выучить арамейский, древнееврейский, изучать Талмуд и каббалу, скрипты Мертвого моря, Евангелие и прочее, что-нибудь мистическое, про душу про смерть, про смысл жизни, то есть про вечное. Знать то, что в детских книжках знают старые бородатые волшебники или мудрецы, – постаралась я выразить таким образом свое представление о науке теологии.

– То есть ты хочешь быть мудрецом? – сказал Марк и выпустил мою ладонь из своей.

– Мудрецом? – засомневалась я. – А почему бы нет? Хочу быть мудрецом.

– С бородой? – подозрительно спросил Марк.

– Ну... не знаю. Если только ты найдешь ей какое-то специальное применение, в общем-то, наверное, разное можно вытворять с бородой, особенно с длинной. А так, самой, мне борода ни к чему. Зачем мне борода? Нет, – твердо решила я, – мне не нужна.

– Действительно не нужна, – засмеялся Марк, а потом спросил: – А почему именно теология?

– Не знаю, – созналась я. – Может быть, потому, что все, что касается загадки жизни, всегда очаровывало меня. Я всегда чувствовала волнение, когда слушала выступление какого-нибудь писателя или ученого или читала книгу с философским подтекстом. Мне казалось, что вот сейчас что-нибудь откроется, что даст на все ответ, и все разом встанет на свои места, и не надо больше будет спрашивать себя: как? почему? и что дальше? Мне всегда казалось, что существует лишь один главный вопрос, а все остальные, может быть, тоже важные, но второстепенные. Знаешь, как в научной фантастике физики пытаются найти единственную формулу построения мира...

– Они на самом деле пытаются. И клянутся, что найдут, – перебил меня Марк.

Я нервничала и была немного возбуждена, потому, наверное, что пыталась говорить о том, что скорее чувствовала, чем понимала, и о чем, конечно же, никогда не говорила прежде, и поэтому было страшно не найти слов, не выразить, даже не для Марка, а для себя. И еще потому, что тема была настолько нереальна, абстрактна и настолько внутри меня, что я боялась ее. Я даже не сразу обратила внимание на последнюю реплику Марка, настолько была сконцентрирована на своем.

– Да? – с деланным удивлением отреагировала я, пытаюсь снова собраться. – Так о чем я? Ну вот, я потеряла мысль, ты меня сбил. – Я совсем растерялась.

– Ты говорила о главном вопросе, – направил меня Марк.

– А, да. Так вот, если он вдруг будет решен, то все остальные вопросы разрешатся автоматически, сами по себе, как бы вместе с ним. И вот я слушала, и читала, и не то чтобы ждала ответа, но хотя бы намек, хотя бы направление. Но, – я развела руками, – никто ничего не подсказал, я так ничего и не нашла.

– Он не в физике, этот ответ, если, конечно, он вообще существует, – сказал Марк.

– Я тоже так думаю, хотя и не могу судить. В физике, сколько бы я ни слушала, ни читала, все равно не поняла бы ничего, будь там сколько угодно ответов. Но мне тоже почему-то кажется, что не в физике. Я не знаю, скорее в литературе, в философии, в теологии, не знаю.

Я замолчала, и вдруг ко мне пришло продолжение:

– Смотри, интересно, если ты возьмешь русских писателей, самых больших, то, помимо того, что они писатели, каждый из них еще своего рода философ со своей концепцией. Может быть, и без ответа на этот главный вопрос, но с попыткой. Смотри, Толстой, Достоевский, любишь его или нет, не имеет значения – я, например, не люблю, – но в концепции ему не откажешь. Потом Чехов. Кто еще? Булгаков с Мастером – все как минимум ставили вопросы и, плохо или хорошо, пытались на них ответить. То есть я хочу сказать, что русская литература как бы переплелась с философией.

– Почему только русская? – спросил Марк.

– Ну потому, что я больше нигде этого не находила, такой насыщенности.

– Может быть, это просто ты не находила? – сказал Марк с заметной хитрецей в голосе и делая ударение на «ты».

– Ну почему? – почти обиделась я. – Я достаточно много читала. – Конечно, это прозвучало по-детски, как в школе перед учителем, и потому я добавила агрессивнее: – Ну посмотри, о чем здесь пишут – детективы, деньги, прочая туфта.

– Я не буду с тобой спорить, – спокойно сказал Марк, – я ведь с тобой заодно. Я только хочу сказать, что в любой стране в основном пишут детективы, потому как их писать намного проще, и, конечно, в России их тоже большинство. Просто аналогов Толстому в мировой литературе всего несколько, и давай мы будем сравнивать сравнимые величины, а то иначе нечестно.

– Ну, например? – пошла я ва-банк.

– Ну, например, – Марк ненадолго задумался, – это относительно, конечно, и зависит от вкуса. К тому же я не противопоставляю, я просто говорю о титанах такой же величины, как, скажем, Толстой, кто ставил вечные вопросы.

– Ну так кто же? – не выдержала я.

– Прежде всего, конечно, Шекспир. Кто-то сказал, что после Шекспира человечеству уже не о чем писать. Потом Гете, Данте для своего времени. Из более поздних, например, Пруст, можно еще кого-нибудь назвать.

– Ну, не знаю, – нехотя согласилась я. – Это в конечном счете не имеет значения. Я только пыталась сказать, что я, может быть, кое-как, но все же воспитывалась на том же Толстом или Чехове, и, может быть, от этого все те вопросы, которые мучили их, стали мучить и меня. Не знаю.

Я замолчала, молчал и Марк, и пауза эта постепенно вернула нас на землю.

– Я не знаю, как насчет теологии, – наконец сказал Марк, – мне кажется, что ею надо заниматься с детства, так как она не только близка к религии, а как бы является ее продолжением. То есть люди вокруг тебя в большинстве своем будут не просто знать, но и чувствовать многое из того, что ты только начнешь изучать. Это не значит, что ты их в результате не обогнишь, но зачем начинать, давая кому-то заведомую фору?

Я согласилась и, наморщив лоб и разведя руками с открытыми, как у большой фарфоровой куклы, ладошками, этакая капризная Мальвина, сказала, что ну вот, на этом моя карьера великого ученого закончилась по той простой причине, что на меня не хватило научных наук. Марк обнял меня и, прижав к себе, сказал, поддерживая мой несерьезный тон, чтобы я не расстраивалась, что мы что-нибудь придумаем.

– Ты хочешь есть? – спросил он.

– Нет, но домой идти тоже не хочется, – ответила я.

– Пойдем возьмем мороженое и посидим внутри, – кивнул Марк на малюсенькое кафе в три столика.

Я согласилась, и мы вошли. Марк принес мороженое и сел напротив меня с вафельным стаканчиком в одной руке и салфеткой в другой. Он откусил от плотного шарика, на губы его

легла полоска молочной влаги, я пыталась запомнить их именно такими, как будто подернутыми туманным облаком.

– Если тебе хочется познать суть вещей, – начал говорить Марк после паузы, – то, может быть, стоит подумать о психологии. Насколько я понимаю, она более приземленная, чем теология и философия, к тому же она куда как более «научная наука», я имею в виду, более конкретная. Суть вещей – это прежде всего человек, даже не сам человек, а его сознание, его душа, и именно этим как раз занимается психология – душой и сознанием. К тому же, насколько я знаю, психология как наука находится в самом зачатии, человечество знает о Вселенной куда как больше, чем о себе, то есть о человеке. Фрейд, по сути, лет семьдесят назад создал современную психологию, и, как бы его ни опровергали, серьезной альтернативы его подходу нет до сих пор.

Марк замолчал, смакуя мороженое, – он взял себе «черри-гарсия», пломбир с огромным количеством пьяной вишни, в изобилии перемешанной с осколками черного шоколада. Это было типично для Марка – говорить о чем-то важном, а потом прерваться и как ни в чем не бывало сосредоточиться на сиюминутном, как бы показывая, что сиюминутное тоже имеет значение. Я набралась терпения и молчала, догадываясь, что это на самом деле лишь замаскированный путь собраться с мыслями, чтобы потом продолжить с еще большей убедительностью.

– На самом деле, наверное, чертовски интересно, нет, даже не понять, как устроен человек, понять это, наверное, невозможно, а хотя бы дотронуться до этой безусловно самой великой загадки.

Мне показалось, что идея заниматься психологией так понравилась Марку, что он сам загорелся ею.

– К тому же, – продолжал он, – насколько я знаю, существует несколько различных направлений – психология поведения, психология мышления, клиническая психология, экспериментальная и другие. Я бы тебе посоветовал узнать у себя в университете про клиническую, потому что, – он задумался, – во-первых, она самая что ни на есть «про людей». Другие занимаются мышками, голубями и прочей живностью, исследуют их рефлексy, поведение. Что тоже интересно, но к людям все это хотя и имеет отношение, но не самое непосредственное. Во-вторых, суть вещей-мы ведь о сути вещей говорили – лучше всего изучать на аномалиях, а клиническая психология занимается именно больными душами. В-третьих, глядишь, выучишься, и вылечишь кого-то, и принесешь пользу, а это очень важно в работе – видеть ее результаты, и немногие профессии позволяют получать такое на самом деле колоссальное удовольствие. В-четвертых, можно будет открыть свою практику, и хотя мы ни о каких деньгах сейчас не говорим, именно частная практика дает большую часть дохода.

Я слушала внимательно, но все же ждала, когда он перестанет перечислять по пунктам преимущества своей идеи.

– В-пятых, – не унимался он, – я почти ничего про клиническую психологию не знаю, и мне тоже будет интересно.

Я скорчила гримасу недоумения: мол, а ты-то тут при чем, и, не выдержав, спросила с сомнением:

– А ты что, тоже пойдешь учиться вместе со мной?

– Я всегда буду учиться вместе с тобой. – Он перегнулся через стол, поцеловал меня в лоб холодными от мороженого губами, так что я вздрогнула. – А потом, когда-нибудь, я буду учиться у тебя, – добавил он, садясь на место.

Сейчас я уже не помню, когда впервые подумала о психологии как о странной и единственной науке, которая амбициозно ставит своей главенствующей, хотя и замаскированной целью познание человеческой души. Пусть цель и недостижима, но тем более захватывает поступательность, тем более волнующим является каждый шаг. Но что я точно помню, это то,

что именно тот вечер в маленьком кафе с Марком, незаметно внушавшим мне свои мысли, и явился пунктом, от которого начался отсчет моего самозабвенного погружения в загадку.

Именно после этого дня в первый раз я почувствовала, что есть невидимая, но пугающая сила в психологии и в людях, занимающихся ею. Сначала, когда я не знала еще, как все происходит на самом деле, мне представлялось, что эта наука несет какую-то разгадку, и, думая так, я даже засомневалась, хочу ли я эту разгадку узнать.

Люди, которые, как мне тогда казалось, постигли ее, представлялись мне видящими насквозь суперчеловеками, не выпускающими свое всемогущее знание за круг непроницаемого, молчаливого ордена. Когда по прошествии лет я стала сама частью этого ордена и поняла, что, как бы ни были обширны собранные знания и как бы глубоко ни были они проанализированы, их кажущаяся грандиозность только высвечивает ничтожную тщетность перед самой невыполнимостью задачи, тогда и сама задача представилась мне еще более божественно-величественной. Именно поэтому, поняла я, бессмыслен прямой подход, лобовая атака в надежде осмыслить ее, и только лишь от попытки изучить отклонения человеческой души, ее аномальные таинственные процессы возникает пусть призрачная, но все же надежда хотя бы обозначить подход к устремленной в небеса вершине.

Однажды, годы спустя, я случайно встретила на конференции своего сокурсника, который с успехом работал и в госпитале, и в университете в одном из западных штатов. После традиционных расспросов с не до конца подавленным стремлением показаться успешнее, даже, может быть, не преувеличивая, но все же выпячивая свои наиболее заметные достижения, зная при этом заранее, что потом будешь испытывать неловкость перед самим собой за свое, с детским душком, хвастовство, разговор перешел на более общие темы. Он сказал, что читал мои работы, и высоко отзывался о них, и мне было особенно приятно услышать похвалу именно от него.

Я чувствовала к нему доверие, мы иногда, много лет назад, вместе сидели до ночи в библиотеке, и поэтому, когда он спросил между прочим, как я отношусь к тому, чем занимаюсь, я наивно раскрылась, отбросив обычную иронию стандартных отговорок. Я сказала – и звучало это, наверное, незащищенно серьезно, – что да, я по-прежнему предана своей главной идее, и попыталась объяснить почему, употребляя все те же слова: «душа», «загадка», «недостижимость»...

Вдруг я поймала на себе его взгляд, немного подозрительный – не разыгрываю ли я его, и, когда мне пришлось подтвердить, чувствуя, впрочем, подступающую неловкость, что я не шучу, а говорю вполне серьезно, взгляд его изменился и стал, как мне показалось, почти сочувствующим. Я оборвала свой затянувшийся монолог, и после паузы он возразил, сказав, что он со мной не согласен, что профессионализм растворяет возвышенное в количестве ежедневных пациентов, в бестолковости студентов, в постоянстве нервных мелочей, в занудливости бумажной работы. «Более того, – добавил он, – чем профессиональнее я себя чувствую, тем больше у меня появляется здорового скептицизма к профессии, что, в свою очередь, повышает мой профессиональный уровень». Он также сказал, что не хотел бы, чтобы я воспринимала его слова лично, но, на правах старого товарища, он полагает, он имеет право напомнить мне, что термин «душа» ненаучен, и вся моя наивная велеречивость его удивляет, и ему интересно, как я ухитрилась совмещать свой идеалистический подход с практической конкретикой.

Я не стала с ним спорить, не стала возражать, что если за каждым пациентом, за каждым опытом, конечно, непосредственно не стоит возвышенное, для которого просто нет ни времени, ни места, почему все-таки при этом глобальная цель познания не может, пусть не вмешиваясь непосредственно, а скорее исподволь, ненавязчиво определять общее направление и смысл всей работы. Я сказала только, ощущая досаду за обнаженную свою откровенность и, по-видимому, неловко улыбаясь, что понимаю его и что отчасти он прав, но все это крайне индивидуально, и я по-прежнему чувствую очарованность и, пускай наивную, пускай по-сту-

денчески детскую, преданность таинственной громаде задачи, которую, я знаю, мне не решить. И я пожала плечами, мол, ничего не могу сделать: знаю, глупо, но я так чувствую.

Он посмотрел на меня пристально, но взгляд его, ставший вдруг серьезным, уже не нес в себе ни подозрительности, ни сочувствия. Самое интересное в этой истории то, что через пару недель, уже после конференции, я получила от него по электронной почте письмо, в котором он писал, что много думал о нашем разговоре, что даже плохо спал первые дни и в результате понял, что потерял некую живую ниточку, связку с тем, что делает. А то, что он называл профессионализмом, в результате убило в нем радость ежедневной работы, и он признает, что я права, и понимает теперь, почему именно я сделала то, что сделала, имея в виду мою знаменитую методику.

Я ответила ему, что рада, если наш разговор как-то помог ему, и пожелала вновь найти ту живую нить, о которой он так образно упомянул.

Впрочем, сейчас, когда прошло столько лет с того дня, когда впервые значение слова «психология» закрепилось у меня в сознании и потом, перемешиваясь и перевариваясь вместе с набранными знаниями, опытом, тяжелой работой, много раз видоизменялось, мне уже трудно понять, когда сформировалось, приняло различимую форму мое сегодняшнее представление о ней.

Это вообще так-слои памяти переплетаются между собой. Какое-то воспоминание из далекого прошлого вдруг оказывается наверху, то, что вроде бы совершилось с ним одновременно, почему-то исчезло, затерялось, а то, что всплыло, причудливым образом состыковывается с другим воспоминанием из другой эпохи и составляет никогда не существовавший, но ставший вдруг реальным узор прошлого. Но память – живой организм, она дышит, пульсирует, находясь в постоянном изменяющемся движении, выводя на поверхность по какому-то своему, неведомому нам закону, казалось, давно потерянные отростки прошлого и, напротив, безжалостно потопляя в своей недостижимой глубине то, что кажется таким непотопляемым. Марк правильно сказал тогда Рону: человека можно определить мозаикой его текущей памяти – изменился ее рисунок, поменялась цветовая гамма, и что-то изменилось в сознании самого человека, чуть по-другому стал он воспринимать окружающий мир, или, как говорил Рон, поменялись атрибуты его жизни.

Глава десятая

Я позвонила Марку из шумного коридора университета, из автомата, стоявшего рядом с административным офисом, где я только что говорила с секретарем факультета психологии, и тупой комок обиды и разочарования все еще стоял у меня в горле. Слава богу, Марк был дома, и слава богу, я услышала его мягкий, ровный, спокойный голос.

– Марк, – сказала я без вступления, – ничего не получится, я только что разговаривала с секретарем, мне надо начинать с самого начала. Они ничего не зачтут мне. – Голос мой дрожал, скорее от досады, чем от слез. – Я не буду никуда переходить, я уже год тут отучилась, два года в Москве, и теперь все сначала, нет, я не буду...

– Подожди, – перебил меня Марк, – не нервничай, я ничего не понял. Ты разговаривала с каким секретарем?

– Психологии.

– Так, факультета психологии, – поправил меня Марк. – И он сказал, что, если ты будешь переводиться, тебе не зачтут предметов – ни тех, которые ты изучала здесь, ни тех, что в Москве. Так?

– Секретарь – баба, так что не «он» сказал, а «она», – внесла я раздраженную поправку.

– Не важно. Я правильно суть уловил?

– Правильно, – наконец согласилась я.

– Так, когда у тебя следующий перерыв?

– Сейчас будет две лекции подряд, а потом перерыв, по-моему, полчаса.

– Хорошо, – сказал Марк. – Жди меня в кафетерии на втором этаже через два часа, я приеду, и мы все обсудим. Только успокойся и не нервничай. Мы все решим.

– Хорошо, – сказала я и, не попрощавшись, повесила трубку.

Он, как и обещал, приехал к самому началу перерыва, и мы сели за столик в очень шумном и не самом чистом кафе.

Я уже успокоилась, конечно, и мне стало в основном все равно – психология, астрономия, бухгалтерия – какая разница, но начинать все с самого начала, нет, я не буду. Даже не понятно, почему я расстроилась поначалу. Неделью назад я и не думала ни о какой психологии, для меня и науки такой не существовало, и вдруг, надо же, чуть не расплакалась.

Я знаю, ответила я себе, я просто фантазировала всю эту неделю, представляя себя модной психологиней, лечащей людей, читающей лекции, то есть мечтала об образцовом золушкином пути, о котором так или иначе мечтают все девушки, правда, в основном, в отличие от меня, в юном, подростковом возрасте. А когда быстренько выяснилось, что кареты и дворцы мне особенно не светят, стало обидно до слез.

Я успокоилась настолько, то есть, вернее, мне настолько стало все безразлично, что я бы отменила встречу с Марком, если бы смогла. Но я не смогла, не успела, хотя, когда он подошел, мне, если честно, даже обсуждать ничего уже не хотелось.

– Ты что будешь? – спросил Марк, направляясь к буфету.

– Кофе.

– Что-нибудь еще?

– Нет, только кофе. Есть совсем не хочется, – ответила я.

Он пожал плечами.

– Я не знал, что ты сегодня пойдешь на кафедру выяснять, – сказал он, вернувшись с двумя кофе и маковой булочкой.

– А что произошло бы, если бы ты знал? – полюбопытствовала я. – Что изменилось бы?

– Наверное, ничего. Я просто хотел поговорить с тобой перед этим.

– И что это бы изменило? – упорно и не без иронии настаивала я.

– На самом деле, ничего. Просто ты была бы подготовлена, вот и все.

Я пожала плечами, мол, хорошо быть подготовленной, конечно, не мешает быть подготовленной, но я и так ничего.

– Смотри, малыш, – начал Марк медленно, как-то неестественно мягко проговаривая каждый звук. – Давай посчитаем, этого мы еще не делали. Если ты перейдешь...

– Никуда я не собираюсь переходить, – перебила его я. – Я все заново начинать не собираюсь, к тому же платить еще за один год, и вообще! – выплеснула я то, что собралось у меня где-то под горлом.

– Хорошо, малыш, мы с тобой только теоретизируем, да?

– Ну, – неохотно согласилась я.

– Итак, допустим, ты перейдешь, или даже не так, не ты...

– Вот именно, не я, – не удержавшись, вставила я.

– Скажем, кто-то поступает с самого начала на психологию, – не обратил он внимания на мое замечание. – Чтобы получить бакалавра, надо четыре года. Потом магистра-еще два года. Но это еще не все, клинический психолог должен иметь степень доктора наук, это еще пять лет. Без диссертации нельзя ни преподавать, ни открыть практику-ничего. Итого, все обучение занимает одиннадцать лет.

– Одиннадцать лет, – проговаривая каждый слог, искренне удивилась я. – Мне будет тридцать три, когда я закончу учиться. Нет, я до этого возраста вообще не доживу.

– Кроме того, – продолжал Марк, не реагируя на меня, – по завершении учебы надо написать диссертацию, а потом сдать непростой экзамен, чтобы получить лицензию на практику.

Я уже перестала серьезно относиться к тому, что он здесь наговаривал, так, сидела ради приличия. Одиннадцать лет коту под хвост – ни денег, ни работы, ни времени на личную жизнь. Нет, это не для меня, пусть он другим рассказывает.

– Теперь, после того как я тебя напугал, слушай внимательно: этот график стандартный, а значит, не для нас.

– Не поняла.

Я действительно не поняла.

– Мы с тобой люди нестандартные, поэтому стандартные графики нас не устраивают.

Я улыбнулась своей самой скептической улыбкой и удивленно качнула головой, мол, ну поделись, какие у тебя еще, милоч, фантазии. Тем не менее почему-то, сама не понимая почему, стала внимательна.

– Смотри, они, конечно, зачтут тебе года полтора, все же ты училась больше трех лет.

– Не зачтут! – почти выкрикнула я. – Я тебе говорю – не зачтут, я же только что с ними скандалила. Странный ты, я ему говорю, не зачтут, а он все свое.

– Можно, я скажу? – все так же спокойно, почти с улыбкой сказал Марк.

– Хорошо, – кивнула я.

– Этот вопрос я беру на себя. Это мое дело, но года полтора тебе зачтут. – Фраза показалась мне по-заговорщицки таинственной, зато прозвучала она весьма уверенно.

– Дальше, учиться на бакалавра остается два с половиной года, но ты должна закончить максимум за два, лучше за полтора.

– Как это?

Мне становилось интересно.

– Будешь брать не по три-четыре предмета, как все, а по пять-шесть. Итак, скажем, по максимуму – два года. Дальше, магистра ты должна будешь сделать за год вместо двух, это возможно. Итого три года. Потом докторскую тебе надо будет написать за три года. Итого шесть лет. На самом деле, пока защитишься, будет шесть с половиной. Тебе сейчас двадцать два, значит, в двадцать восемь ты будешь вполне лицензированным психологом, что не отлично, но нормально.

– А что отлично? – спросила я.

– Отлично – это лет двадцать шесть, иногда, хотя редко, двадцать пять. Ты, конечно, упустила время из-за эмиграции, но двадцать восемь тоже нормально еще, хотя уже предел, позже – плохо. На возраст защиты смотрят, что, конечно, глупо, но это определенный показатель, во всяком случае, до тех пор, пока не появятся другие показатели – статьи, книги и прочие вещественные доказательства. Но в твоём случае двадцать восемь будет отлично, так как окружающие будут понимать, что ты из России, с другим языком, все делала с нуля, на пустом месте, сама. Все это будет говорить в твою пользу и вызывать симпатию, то есть, если разобраться, твои кажущиеся недостатки являются большим плюсом.

Он говорил так спокойно и обыденно, и казалось, так хорошо знает то, о чем говорит, и голос его был такой ровный и уверенный, что мечты последней недели вдруг разом все вернулись ко мне, а может, они и не уходили вовсе, а так, просто притихли, дожидаясь своей минуты. Впрочем, я не могла упустить возможность покапризничать немного.

– Какая разница? В моем случае что двадцать восемь лет, что двадцать пять – одно и то же: одинаково нереально.

Он улыбнулся.

– Конечно, малыш, будет сложно, тебе предстоят непростые шесть лет. Но ты справишься. Кто, если не ты? – Он замолчал, глядя на меня, а потом закончил: – К тому же я тебе помогу.

Я смотрела на него и опять подумала, что, наверное, в его жизни уже было много всего разного и я и представить себе не могу того, что он знает и умеет. Я вдруг поняла, как он не соответствует этой студенческой столовке, с ее шумом и неразберихой, с ее сиюминутностью и беззаботностью, я вдруг увидела, какая громадная дистанция отделяет его от всех этих ребят вокруг нас. Интересно, почему же я эту дистанцию не ощущаю и никогда не ощущала, даже не задумывалась о ее наличии. И тут, сейчас, в этой беспорядочной столовке я поняла, что это Марк, это просто его манера, его стиль-не дать мне почувствовать пропасть, лежащую между нами.

Я вдруг вспомнила, что однажды мы были в гостях у моих приятелей, симпатичной молодой пары, мужа и жены, и жена была на седьмом месяце, и они оба были заиклены на детях в волнении своего долгого ожидания и ни о чем больше решительно говорить не могли. И вот Марк тогда, поддерживая тему о воспитании детей, сказал, что, пожалуй, самое важное – это постоянно находиться на уровне ребенка, опускаться до него независимо от того, сколько ребенку лет, и разделять вместе с ним его интересы, заботы и увлечения. И по мере того как ребенок растет и его увлечения меняются, ты, с высоты своей зрелости, должен каждый раз заново подстраиваться под него.

Потом он добавил, что это единственный путь сокращения дистанции-он именно так и сказал: «дистанции»-между родителем и ребенком. К тому же нет лучшего способа направить сына или дочь и дать им максимально раскрыться. Именно таким образом, не наставительными менторскими моральями, а как друг и единомышленник.

Но главное, сказал тогда Марк, что только так появляется единственная возможность прожить жизнь заново-детство, юность, – еще раз. Только вместе с ребенком. Я помню, что подруга моя, заинтересованно посмотрев на Марка, спросила, есть ли у него самого дети, на что Марк ответил, что нет, и на вопрос почему, виновато улыбнулся и развел руками.

И вот сейчас, когда я вспоминала тот разговор, внезапная мысль пришла мне в голову: а не так ли, не по такому же плану он ведет себя со мной? Не преследует ли он ту же цель, о которой говорил тогда, не хочет ли он заново прожить отрезок от двадцати двух и дальше – то, что в его «за тридцать» понимании и есть молодость?

Неожиданная эта догадка неприятно поразила меня именно тем, что я заподозрила его в корысти по отношению к себе, пусть даже в такой нелепой корысти. Я тут же предпочла ото-

гнать подленькую мысль, сказав себе, что даже если у него и существует цель, то она наверняка неумышленная. А если и умышленная, то тоже ничего плохого, ведь она не обесценивает его отношения ко мне, а, наоборот, обогащает.

Я еще раз посмотрела на него. Он, в своих неизменных джинсах, свободной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, легко мог сойти за молодого либерального профессора, объясняющего что-то студентке, то есть мне.

– Ну и что теперь делать? – спросила я.

Я вдруг успокоилась, от паники не осталось и следа, казалось, что ко мне не просто вернулась уверенность, а что она вообще никогда не покидала меня.

– Теперь тебе надо заполнить анкеты и написать заявление, чтобы тебе зачли как можно больше предметов, которые ты уже изучала. Потом отдать их, эти документы, в деканат факультета психологии.

– Это просто, – улыбаясь, сказала я.

Он тоже улыбнулся.

– Все несложно.

Глава одиннадцатая

Все получилось действительно так, как он говорил. Я подала документы о переводе, написала заявление с просьбой зачесть мне предметы, которые или подобные которым я уже изучала, подкрепив его всевозможными переведенными и заверенными копиями.

Через две недели мне пришло письмо из университета с извещением, что я зачислена, что плата за обучение будет такая-то, но если я претендую на стипендию – а я, конечно, по своей бедности претендовала на все возможные в мире стипендии, – то должна обратиться туда-то и туда-то с такими-то документами. Но самое неожиданное, хотя нет, ожидаемое, правда, почти невозможное, было в маленьком, отдельно приложенном листочке, где говорилось, что, принимая во внимание те предметы, которые я изучала прежде, факультетская комиссия сочла возможным зачесть мне следующие курсы... И после этих слов шел отнюдь не короткий список.

Я тут же в своем не желающем сдерживаться возбуждении схватила калькулятор и, после несложных, но неоднократно повторяемых из-за недоверия к себе вычислений, пересчитав все предметы на курсы, потом на часы, недели, месяцы и семестры, наконец утвердилась в своем невероятном подсчете: то, что мне засчитали, во временном эквиваленте составляло приблизительно полтора года. Я тут же набрала телефон Марка, но его не оказалось дома, работал автоответчик. Я подумала, что это даже лучше и неловкие слова благодарности проще наговорить на безмозглую машину.

– Марик, Марик, ты могуч, ты гоняешь стаи тучных профессоров и прочих преподавателей, – попробовала я скаламбурить на с трудом приспособленном к рифме языке. – Может быть, раз ты такой всеильный, скажешь им, чтобы они мне и стипендию приподняли, ну, хотя бы на пару дюймов. А то за свою тягу к знаниям мне всю жизнь придется долги образовательные выплачивать, – набралась наглости я и, перед тем как повесить трубку, сказала совсем другим голосом, полным нежности: – Спасибо тебе, любимый.

Потом, ведомая врожденным рефлексом, я вышла на улицу, и, зайдя в не самый дешевый магазин, купила не самую дешевую рубашку приблизительно размера Марка и, приложив трогательную открытку, купленную по соседству, с трогательным котенком, просящим чего-то (я предположила – стипендию), отнесла пакет на почту и отправила Марку.

Он позвонил мне на следующий день и сказал, что получил мое сообщение на автоответчике, и хотя не до конца понял про стаи, но в целом ему понравилось, и еще он получил посылку, и она ему тоже понравилась, и что он не воспринимает ее как взятку, а только как благодарность. Голос у него действительно был веселый и довольный, и я была рада.

– Какую посылку? – делано удивилась я. – Ах, эту? Не обращай внимания, я вчера всем своим знакомым рубашки рассылала. Кстати, тебе размер подошел? Этот цвет как раз к твоим глазам, – тараторила я, довольная больше Марка тем, что ему пришелся по душе мой, совсем не пустяковый для меня, знак внимания.

– Малыш, – сказал он, когда мы закончили про рубашку, – мы с тобой едем на неделю в Кейп, со следующего понедельника, я уже снял там квартиру.

Я, конечно, много и часто слышала о Кейп-Коде, небольшом океанском курорте, где Гольфстрим подходит к самому берегу, и знала, что этот теплый водянистый рай находится совсем недалеко, часах в трех езды от Бостона, но, конечно же, ни разу там не была.

– Нет, милый, спасибо, но я не могу, меня с работы не отпускают.

И тут же мне стало ужасно обидно, прямо до слез, из-за того, что не отпускают, что не могу, что гольфстримские потоки не нахлынут на мое давно не загоравшее тело.

– А ты уходишь с работы. Ты что, еще не знаешь об этом? – безапелляционно заявил он.

– Марк, у тебя, родной, ориентация во времени нарушилась. Ау, я еще не стала доктором, и хотя зарплата у меня небольшая, но она мне нужна.

– Какая-то ты меркантильная. – Его голос был подозрительно беспечным, и я насторожилась. – Ты теперь работаешь в другом месте, вполне в соответствии со своей новой специальностью.

– Марк, милый, прошу тебя, – взмолилась я, – это слишком много для меня за такое короткое время, пощади. Какое такое место?

– Ну это лучше не по телефону, давай встретимся, и я тебе расскажу. Ты когда свободна?

Когда мы встретились, Марк рассказал, что один его приятель, впрочем, имя не уточнялось, заведует организацией, курирующей дома, где живут, скажем, не очень психически здоровые люди, которые не могут функционировать сами, без присмотра, но которые не нуждаются в изоляции в более строгих учреждениях. Поэтому их селят в обычном доме, где каждый человек занимает комнату и где они живут своей маленькой коммуной, готовя себе еду, следя за порядком и так далее, в общем, проводя аналогию с моим детским прошлым, как в пионерском лагере. Если продолжить эту аналогию, то в пионерском лагере был пионервожатый, который следил за детьми, позволяя им, впрочем, исподтишка покуривать и целоваться, если возраст подошел. Вот на такое место пионервожатого и уговорил Марк своего товарища взять меня.

– В целом, работа халявная, – делилась я с Катькой неожиданной новостью по телефону. – Три раза в неделю с восьми вечера до восьми утра, всего тридцать шесть часов, ночью спать можно, не на посту все же. Главное – следить за ними, чтобы чего не натворили, и проверять, чтобы лекарства принимали.

– А платят-то как? – поинтересовалась нетактичная Катька.

– Платят даже лучше, чем в магазине, – уклончиво ответила я.

– Надо говорить не «даже лучше», а «куда как лучше», если уж вконец пала жертвой повальной американизации, – съязвила Катька, закрывая этим вопрос.

Глава двенадцатая

Мы с Марком уехали в Кейп через неделю, когда в начале июня у меня закончились занятия в институте. Был еще не сезон, лето только начиналось, и курортный городок, в котором Марк снял квартиру, хотя и находился в нервном возбуждении от предстоящего людского наводнения, не утомлял тем не менее суетой разномастной толпы. Наоборот, было тихо и на улицах, и в маленьких кафе, выставивших на каменистые улочки легкие белые столики. Редкие машины не могли испортить вялой идиллии, и лишь свежий океанский ветерок препятствовал ленивой расслабленности, временами все же берущей свое.

Всю эту неделю мы не делали абсолютно ничего, только бродили вдоль нескончаемого узкого пляжа, пахнущего, впрочем, только при ползучих приливах, сырым запахом тины, слушающая, как тяжелая, размеренная волна сглаживает нервный и докучливый крик чаек. Когда же становилось слишком жарко, мы оставляли океан до следующего утра и шатались по разбросанным, ломким отросткам переулков, заглядывая в маленькие, размером в жилую комнату, галереи и магазинчики, примеряя нелепые шляпы, панамки и прочие курортные ненужности. Когда игрушечные магазинчики эти надоедали, мы устраивались за белым столиком такого же игрушечного кафе, и одинокая хозяйка его, довольная уже тем, что может хоть с кем-нибудь перебраться словом, приносила нам либо коньяк, либо пиво, либо, если нам было особенно лень, соку.

Может быть, потому, что это был мой первый отпуск в Америке, сам городок своей нереальностью и маленькой гаванью с покачивающимися на солнечной зыби лодками, такими же белыми, как и все вокруг, с выставленными стоймя, в постыдной наготе от отсутствия паруса, мачтами, напоминал какую-то томящую сказку Грина, полностью забытого, но сейчас вдруг пришедшего на память из детства.

Я выбирала, забираясь по колено в воду, так, что холодило икры, разноцветную гальку и причудливые ракушки и потом бежала к Марку показывать их, и мы уже вдвоем отбирали самые замысловатые, которые собирались взять с собой в Бостон, и я закидывала руки, обнимая его за шею, и, привставав чуть на цыпочки, утыкалась губами в пахнущую солнечными лучами, разогретую кожу щеки.

Он обнимал меня за талию и крепко прижимал к себе, отрывая от земли, так, что что-то смещалось внутри хрустнувших косточек, и замирало ставшее прерывистым дыхание, и я шептала с последним выдохом оставшегося в легких воздуха: «Пусти, сломаешь». Потом я находила его губы, и трогала их своими, и, чувствуя их, как правило, чуть коньячный запах, все еще вдавленная в него, чуть задирала голову, так что глаза мои оказывались на уровне его глаз, и, почти не отделенные от них, они создавали зыбкую двойную связь, замкнутую между переплетенными губами и взглядами. Потом я отстранялась от него, не в силах больше существовать без сбившегося дыхания, и он отпускал меня и клал свою руку на оголенное благодаря безрукавной майке плечо, прижимал к себе, и мы снова шли по пляжу, и он говорил что-то, и я думала: «Если это не счастье, то что же тогда счастье?»

Я никогда раньше не занималась любовью так много и так часто, и как это ни казалось странным, но, может быть, именно поэтому, а может быть, оттого, что ничто – ни дела, ни заботы – не отвлекало мой отдыхающий ум от Марка, мне так же много и часто хотелось любить его. Тривиальная простота, незамысловатая естественность перехода от желания к действию, как ни парадоксально, только добавляли возбуждения.

В любой момент, каждую секунду можно было щекот-нуть ноготочком по его расслабленной ладони, поднять голову, посмотреть ему в глаза, и сказать: «Я хочу тебя», и повернуться

к нему, и прижаться, и почувствовать упругость, и услышать больше утверждение, чем вопрос: «Пойдем?»

И сразу сама дорога назад, к дому, вдруг наполнялась ожиданием любви, не менее волнующим, чем сама любовь. Ноги пытались пойти быстрее, но сознание сдерживало их, как бы стремясь затянуть это невинное и оттого еще более томительное и тянущее желание. От понимания того, что, пока мы не придем, оно не окончится, а, наоборот, будет расти и растекаться, заполняя тело и голову, загоралось краской волнения лицо, и покрывались блестящей туманной пленкой глаза, и все внутри уже качалось на кончике взрыва, не смея, впрочем, разорваться.

А там, в квартире, не обремененное городскими условностями тело ловко, в мгновение, лишало себя свободных штанов, легкой майки и почти не существующих трусиков и рассыпалось миллиардами прикосновений, и в голове происходил давно запланированный взрыв. И не надо было никаких прелюдийных ласк, и никакие книжные изощрения не могли заменить головокружительного скольжения лишенного притяжения тела, и, соединяясь с ускользающим сознанием, каждое интуитивное, но чуткое движение бедер отдавалось в последнем сохранившемся чувстве, вобравшем в себя все вместе – нежность, ласку, обожание, любовь, – единственном чувстве, еще как-то связывающем тебя с колышущимся внизу земным миром.

Со мной произошла странная перемена: я теперь не стремилась кончить. Более того, я боялась кончать, зная, что это остановит, уничтожит, убьет это безумное состояние тающего тела, и, когда требовательная, но осторожная рука Марка как-то неожиданно перехватывала мою ногу, я открывала глаза, и, видя его глаза над собой, всегда изумрудного, лучистого цвета, я, оттого что разучилась говорить, лишь в отчаянии качала головой и только потом, от накалывающей опасности успев найти самые простые слова, шептала, скорее инстинктивно, чем сознательно: «Нет, нет, так нельзя».

Сам процесс любви казался настолько изощреннее, подключал к себе настолько больше многомерных эмоций, был глубже и сложнее последнего, пусть самого сильного, завершающего рывка, растянутое желание этого рывка несло настолько больше таинственного смысла, чем он сам, что даже сила его зависела от того, насколько его удавалось затянуть.

И только когда его тело напряженно выгибалось и сразу мышечной тяжестью своей удвигало свой вес, больно вдавливая меня внутрь себя, и рука его, судорожно хватавшая мою руку, сжимала ее до невыносимой, но сейчас нечувствительной боли, и внутри меня все немело и на мгновение замирало, а потом взрывалось, рассекая и расщепляя... Именно в этот момент мое тело, подчиненное его властному порыву, стремительно бросалось навстречу и, больше не в силах и не желая сдерживаться, последним движением настигало все еще пульсирующую упругость, и все сметающая волна теплоты неестественной силы, растекаясь во все стороны от самого низа живота, накрывала и всю меня, и мой сдавленный крик, и мои сжатые до крови руки.

Потом я, лежа на боку, смотрела на его более обычного очертившееся, чуть изнуренное, но счастливое лицо и с забытой улыбкой наблюдала, как земная жизнь постепенно возвращается к нему. Все еще с закрытыми глазами он дотрагивался до меня, теперь уже легкими, почти невесомыми пальцами, там, где падающая линия приподнятого бедра пересекала другую, плавно скользящую от груди, и обе они, смешиваясь, создавали переход, как говорил Марк, плавной гармонии.

Чуткие кончики его пальцев пробегали вдоль очерченной ими же ложбинки, и мое расслабившееся тело, все еще начисто лишенное кожи, а может быть, только лишь сейчас выползшее из нее, отвечало на прикосновение изумительно растекающейся дрожью, неожиданно пронзая сердечную мышцу стремительными разрядами так, что опасно замирало сердце.

Вместе с расслабленностью, как ни странно, наступала усталость, даже не усталость, а изнурение, изнурение не только всего тела, но и чувств, воли, желаний, мысли. Тянуло ноги и

сдавливало грудь, руки тяжелели так, что даже пальцы не в силах были приподняться над белой плоскостью простыни, да и сознание вдруг наливалось свинцовой усталостью, как будто то, что произошло, потребовало и щедро получило все мои жизненные ресурсы, оставляя меня, выжатую, без сил и желания жить дальше.

Казалось, что каждая клеточка меня, моего тела и души, отдала свою незримую часть, какой-то свой кусочек – иначе откуда это глобальное трехмерное изнурение?

Я так и сказала Марку: «Я люблю тебя на клеточном уровне».

Это правда, он вошел в каждый мой микроскопический орган, в каждую клетку, и теперь я чувствовала его не руками, не грудью, не животом, не какой-то другой, отдельной частью моего тела, а всем бесчисленным клеточным набором сразу, одновременно, включая даже самые глубинные из них, спрятавшиеся под ребрами, зарытые в печени, в легких, и те, ютящиеся на поверхности, в сгибе ноги, в пульсирующей жилке шеи. Именно поэтому каждая клетка, преданно подчиняясь ему, безотчетно жертвует частью себя. Не беря в расчет мои жизненные возможности, она безжалостно по первому требованию отдает ему наиболее живительную свою часть, отвергая мой даже самый ненавязчивый контроль.

Только тогда, когда сказка окончилась и я сидела в безмолвной панике внутри жужжащего «Порше», возвращаясь назад в Бостон, и с тревожной тоской думала, что такого чуда никогда больше не случится в моей жизни, и украдкой поглядывала на Марка, который как-то необычно сосредоточенно следил за дорогой и почему-то держал руль обеими руками, он вдруг, так и не отрывая взгляда от дороги, сказал:

– Знаешь что, почему бы тебе не переехать ко мне?

Это грохнуло так неожиданно, что я вздрогнула. Я никогда не задумывалась над возможностью жить вместе, наши отношения я воспринимала как подарок, как волшебное чудо, возникшее из ничего, и мысль о том, куда они ведут и во что могут вылиться, нисколько не занимала меня. Я не смотрела на Марка ни как на потенциального мужа, ни как на пусть длительного, но временного любовника – я вообще не определяла его статуса в моей жизни, просто наслаждаясь его пребыванием в ней, не ставя это пребывание под пугающие вопросы реальности – как, зачем и что дальше. Я знала, я придумала уже давно и придумала сама, не претендуя, впрочем, на право первородства, что человеческие отношения, как и многое другое в этой жизни, живут в динамике и, наоборот, засыхают и отмирают от бескровной статики.

Под этим я понимала, что отношения должны постоянно дышать, видоизменяться, переходить из одной формы в другую, то есть жить в развитии. Я уже тогда это понимала, но тем не менее моя любовь к Марку не требовала еще дополнительных искусственных стимуляций. Она вполне могла продержаться на ежесекундной новизне наших встреч, слов, взглядов, на, казалось, каждый раз другом, уникальном чувственном возбуждении и особенно на его бесконечных рассказах, таких неожиданных, исковерканных до неузнаваемости фантазией, так же, как и на моих диких для него воспоминаниях из прежней жизни.

Годы спустя я поняла, что источником позитивной динамики в этом мире, полном забот и лишений, волнений о будущем, настоящем и даже прошлом, в мире, в котором все, даже секс, приедается, становится обыденным и теряет свою остроту, единственным неиссякаемым источником позитивной динамики становится человеческий интеллект. Только он, не ограниченный, как секс, рамками поз, движений и вообще, в идеале, никакими другими рамками, преломляя через себя, казалось бы, несущественные ежедневные события, разговоры, новости, каждый раз привносит в монотонность жизни свежее разнообразие мыслей и впечатлений, создавая при этом единственную вечную позитивную динамику – динамику человеческого общения.

Каждый раз, когда я возвращалась домой, Марк встречал меня в проеме двери гостиной, босиком, с неперменной ручкой, висящей колпачком вверх у второй пуговицы расстегнутого ворота рубашки, с книжкой, прихваченной на нужной странице указательным пальцем. Я подставляла губы под его поцелуй и, усталая, брела на кухню, где он уже наливал для нас чай, и какой-то легкий ужин, сделанный мною загодя, вынимался из холодильника, и мы садились за стол, он изучающе смотрел на меня и спрашивал оживленно: «Ну что? Давай рассказывай». И я рассказывала ему обо всех новостях прошедшего дня, все, о чем я думала и что приходило мне в голову, для разрядки даже опускаясь до забавных сплетен.

Если новость или мысль ему нравилась или казалась важной, он тут же подхватывал ее, по-своему интерпретируя, поворачивая какой-то новой, неожиданно раскрытой стороной, так что в ней появлялась сразу дополнительная, не замеченная мной раньше ниточка, иногда ведущая к новой, еще лишь слегка осязаемой идее. И если Марк считал нужным, он сразу записывал ее двумя-тремя понятными только ему одному фразами в блокнот, который он всегда носил с собой в кармане брюк.

А потом он рассказывал о своем дне, о том, что происходило с ним, тут же, с ходу, как я догадывалась, что-то допридумывая, и порой это было забавно, а часто просто смешно, и мы оба смеялись, и я смотрела на него и думала: «Мне не скучно с тобой, Марк».

И проходила усталость, и, если не было слишком поздно и не требовалось что-то срочно доделывать на завтра, мы могли сидеть так час или два, забираясь иногда в дебри специального вопроса, над которым он или я, а часто мы оба одновременно, работали. Или болтали о чем-то отвлеченном, о какой-нибудь забавной чепухе – какая разница, когда все в удовольствие.

Это и было, как я потом поняла, той самой позитивной динамикой, придававшей вкус, цвет и запах каждому новому дню. И, если что-то случалось со мной, первое, о чем я думала, – это как я буду сегодня вечером рассказывать о происшедшем Марку и какой будет его реакция. Впрочем, ничего серьезного мы за этими чаепитиями не обсуждали, серьезное не терпит суеты, для серьезного отводились, как правило, отдельный день и свежая голова.

Глава тринадцатая

Но это было потом, а тогда, когда Марк так неожиданно и, как мне показалось, тут же сам испугавшись своего безрассудства, предложил мне переехать к нему, я ничего не ответила сразу, создав этим напряженно повисшую паузу.

Пауза разрасталась и начинала давить, и мне необходимо было ответить, и я наконец сказала, что спасибо, что это очень мило с его стороны, но действительно так неожиданно, что я должна подумать. Я сказала так не из кокетства и не из желания поморочить его, а потому, что я действительно почувствовала напряженный испуг в наклоне его головы и в том, как держал он двумя руками руль.

В первую минуту мысль о том, что он может быть рядом со мной каждую ночь, что сквозь сон я буду слышать теплоту его дыхания, и, повернувшись на это тепло и поймав его щекой, я уткнусь в уютное плечо, а утром первый мой взгляд ляжет на родное лицо, – мысль эта хлестко обожгла меня и стала вдруг правдоподобной возможностью неведомого постоянного счастья. Но я не хотела ловить его на сиюминутности чувств, ему – я знала это – было так же нелегко вот так обыденно, как будто не было этой восхитительной недели, подвезти меня к подъезду, дежурно поцеловать на прощание и услышать безличное «созвонимся». Я не хотела пользоваться его растерянностью, возникшей в предчувствии нелепого расставания, и подумала, что если его желание не рассыплется завтра утром, раздавленное устоявшимся за ночь эмоциями, то я приму его как единственную возможность своего дальнейшего существования.

– Хорошо, – сказал он и замолчал, и мы молчали до самого Бостона.

Когда мы подъехали к моему дому и Марк достал с заднего сиденья мой маленький чемоданчик, я почувствовала, как закружившаяся голова вдруг заблокировала ноги и они, занемевшие, подло отказываются идти по этой перекошенной лестнице от него, от его рук, от его голоса, в эту бессмысленную, затасканную квартиру, в ее одиночество, пропитанное затхлым тошнотворным запахом коврового покрытия.

– Тебе помочь? – спросил он, передавая мне чемоданчик, и в его неуверенном движении я тоже прочитала растерянность.

– Нет, спасибо, – я попыталась улыбнуться, – я сама. Позвони мне утром, да? – И, взяв все же себя в руки, я подошла к нему и, вытянувшись, тронула его губы своими. – Я буду ждать, да? – еще раз попросила подтверждения я.

Он улыбнулся и кивнул, мой короткий поцелуй чуть расслабил и меня, и его, подсказав, что если мы и теряем друг друга, то все же лишь на одну ночь.

На новую работу я выходила через день, меня ожидало еще одно беззаботное утро, но тем не менее я проснулась в шесть во взвинченном нервном возбуждении и уже не смогла уснуть. Я встала, накинула легкий халат и пошла в ванную, подтянув недотягивающийся телефон до предела и оставив неприкрытой дверь на случай, если раздастся звонок.

Потом, когда я рассказывала Марку про свои страхи и мы вместе смеялись над ними, он сказал, что тоже проснулся утром, хотя для него вставать рано было непривычно, и не раз порывался мне позвонить, но сдержался, боясь меня разбудить.

Когда я вышла из душа и посмотрела на часы, было уже около семи, и я подошла к окну, не зная, чем занять себя в такую рань. Из дома я выходить не смела, боясь пропустить звонок, поэтому сварила кофе, взяла валяющийся на столике толстый журнал мод, непонятно каким образом попавший в мою печальную келью, и стала разглядывать изображения роскошных манекенщиц, давно изученных мною досконально от высоких каблуков до замысловатых причесок. Так изучаются диковинные ископаемые дотошным археологом.

Марк не позвонил ни в восемь, ни в девять. Я уже накрамила ногти ярко-красным лаком и сначала тупо сидела, уставившись на них, пытаюсь сообразить, когда и зачем я прикупила такой раздражающе кричащий оттенок, а потом побрела в ванную за ацетоном и, заполнив комнату едким запахом, злорадно подумала, что это единственный путь выбить из моих застоявшихся легких гнилой запах истрепанной ворсяной синтетики, намертво прилепленной к полу.

В полдесятого мне пришла мысль позвонить самой, подумаешь, звонила же я ему раньше чуть ли не каждый день. «Если его голос, – подумала я, – покажется мне подходящим, я скажу, что принимаю его предложение и согласна переехать к нему». Я так и решила: подождать еще пятнадцать минут и позвонить самой, но потом отодвинула свой звонок еще на пятнадцать минут, а потом – еще.

Когда он все же позвонил в половине одиннадцатого, меня уже подташнивало – не то от трех чашек кофе, не то, с непривычки, от головокружительного запаха ацетона, не то от подло растекшегося из живота по всему телу нервного волнения. Голос Марка как бы в противовес моему звучал дразняще игриво, совсем не растерянно, как вчера, а даже весело.

– Как спалось? – спросил он, будто зная о муках моей почти бессонной ночи.

– Спасибо, плохо.

Я решила не скрывать волнения. Да и что скрывать, как будто по голосу не слышно.

– Все думала? – почти издевательски спросил он.

– Ага, – призналась я.

Мне опять становилось дурно. Волнение поднималось все выше, обволакивая голову мягкой податливой дурью. Я плохо соображала.

– Ну и что надумала?

– Ты действительно хочешь, чтобы мы жили вместе?

Это был мой акт дипломатии из последних сил. Я специально сказала «чтобы мы жили вместе», а не «чтобы я переехала к тебе», – подчеркивая, что не место главное, а то, что мы будем вместе. Как будто в качестве альтернативы он мог переехать ко мне.

– Да, хочу, – ответил Марк.

Голос его не дрогнул, подтверждая тем самым решительность намерений.

– Тогда я согласна, – с ходу, даже неприлично с ходу, выпалила я.

– Я сейчас выезжаю за тобой.

Его ответ по скоропалительности не очень отличался от моего.

– Сейчас? – не то от восторга, не то от неожиданности удивилась я.

– Конечно, сейчас. Тебе же завтра на работу, сегодня у нас целый день – лучшее время для переезда. К тому же я соскучился.

Это было на редкость трогательно. Все, все тут же отступило – и волнение, и тошнота, а освободившееся пространство заполнила жажда деятельности: приводить себя в порядок, собирать вещи, встречать его.

– Я тоже, – ответила я весело. – Я жду тебя, я тебя завтраком накормлю, – нашла я нелепый путь выразить свою нежность.

– Хорошо, – ответил Марк и повесил трубку.

Он приехал и привез свежие булочки на завтрак, а я, понимая, что выгляжу по-дурацки со своими светящимися от неприкрытого счастья глазами, тут же обхватила его, вжалась и, прикинув головой к его груди, прошептала:

– Это была самая ужасная ночь, знаешь?

Он обнял меня одной рукой, держа в другой пакет с булочками.

– Я даже не предполагал, что за неделю можно разучиться спать одному. Понимаешь, я не знал, куда деть руки, – сказал он. – Как-то они все время мешались.

Я приподняла голову, посмотрела на него снизу вверх и на правах почти жены, ну хорошо, не жены, но все же совсем близкого человека, передразнила:

– Так уж и не знал? Ладно, рассказывай.

Он улыбнулся, довольный моей прозорливостью, но никаких военных тайн не выдал. Я вылила в раковину бадью утреннего недопитого кофе и сварила свежий. Мы сели за стол, я разломил одну из булочек, внутри находилось инородное для мягкости теста тело. Я выковыряла его, понюхала, попробовала на зуб, им оказалось до обиды обыкновенное семечко подсолнуха, хотя и очищенное, конечно.

– Специально в пекарню заезжал, – попытался оправдаться Марк.

Я пожала плечами, надкусила краешек, кофе я пить уже не могла, но булочка была вкусная.

– Знаешь, Марк, есть одна вещь... – сказала я.

– Ты о чем? – спросил он.

– О переезде. Знаешь, ты только не обижайся, но я должна, хотя бы частично, оплачивать квартиру.

Он рассмеялся, именно весело рассмеялся, пытаюсь возразить.

– Подожди, подожди, – не дала я перебить себя.

– Хорошо, я слушаю, – согласился он.

– Смотри, я живу здесь, я плачу за квартиру. Я привыкла уже, я это делаю давно, с первого дня. И я хочу жить с тобой, и понимаю, что твоя квартира значительно дороже. Я никогда бы не смогла оплатить ее полностью...

Я так волновалась из-за этого деликатного денежного вопроса, что не знала, как правильно сказать.

– Но я хочу платить то, что могу. Это нечестно, чтобы все расходы брал на себя ты. Это даже будет обидно для меня, это...

Он перебил мой растерянный лепет:

– Не выдумывай. Это моя квартира, я купил ее очень давно, когда она стоила совсем немного. Я не могу и, конечно, не буду брать с тебя денег, я не сдаю тебе квартиру, я хочу, чтобы ты жила со мной. Понимаешь?

Я задумалась. Мне почему-то никогда не приходило в голову, что это его собственная квартира. Теперь-то понятно, что он, конечно, не может брать с меня деньги. Но я действительно не хотела жить бесплатно, я не хотела ни намека, ни подозрения в какой-либо, на самом деле не существующей, корысти. Хотя подленькая мысль независимо от моего желания все же внедрилась в голову: сбросить бы с плеч моего дистрофичного бюджета такую обузу, как квартирная плата, – жизнь стала бы легонькой, как бабочка на летнем газоне.

– Подожди, – сказала я, после того как длительное размышление нагнало складки на моем лбу, – ты ведь платишь за электричество, за телефон, за тепло, за что еще? – Я задумалась, пытаюсь придумать, за что еще платят владельцы квартир.

– Плачу, – согласился Марк, так и не дождавшись завершения.

– Ага, – обрадовалась я, – сколько это набегает, если сложить?

Марк задумался на минуту, назвал цифру. Она составляла приблизительно половину того, что я платила за свою вонючую конуру.

– Ну так вот, с сегодняшнего дня это уже не твоя забота.

– Малыш... – попытался возразить Марк, но теперь уже я его перебила:

– Даже не спорь! Все равно это значительно меньше, чем я плачу за свою квартиру.

Я не хотела обзывать ее «конурой» при посторонних, даже при Марке, – все же она, как могла, служила мне столько лет. Я даже вдруг почувствовала к ней неизвестную доселе сентиментальную жалость, из-за очевидного скорого расставания, наверное.

– Ну, если ты так хочешь, пожалуйста, – разрешил мне Марк.

– Я так хочу, – упрямо подтвердила я, как будто речь шла о моем капризе, а не об акте осознанного самопожертвования.

Глава четырнадцатая

Переезд занял, конечно, больше чем одну езду – в машину Марка ничего не помещалось, и пришлось взять напрокат небольшой грузовичок. День был будний, в такие, кроме бездельников как мы, никто не переезжает, и машин на станции проката было полно.

Всегда поначалу кажется, что вещей-то всего ничего – чего там, несколько платьев, две пары джинсов, туфли, ну и еще всякая мелочь типа белья. Но когда выметешь все из углов, выбросишь на обозрение из забытых ящичков да с полочек все поснимаешь, то организуется пусть и не Хеопса, но все равно солидная пирамидка, на которую взираешь в недоумении: откуда набралось столько всего? И выясняется, что вот именно с этой, скажем, подушкой совершенно невозможно расстаться, потому как привыкла, притерлась уже к ней ухом. А вот тот, например, плюшевый медвежонок связан либо с событием, либо с человеком, и куда ж его теперь? Да и все остальные вещи уже давно не нужные, а может быть, и не нужные никогда, но как отказаться от них? Это все равно что по собственному желанию умертвить какую-нибудь несущественную частичку памяти только лишь потому, что для нее в ограниченной костью мозговой коробке не хватает больше места. Да нет, думаешь, пусть будет, место найдется. И находится.

Я вообще немного сентиментальна и к вещам, и к домам, и, конечно, к прошлому. Сейчас мне казалось, что вещи, как домашние животные, были преданы мне столько лет, служили верой и правдой, разделяли мое одиночество и иногда, в своей бессловесной заботе, утешали и помогали. А я, лишь только мне удалось подняться на следующую, так сказать, ступеньку жизни, сразу предательски, по-подлому бросаю их, беспомощных, обрекая на умертвляющую ненужность.

Я понимала, что все эти вазочки, тарелки, пуфики, даже журнальный столик, не говоря о других предметах, которые лишь благодаря свой функциональной пригодности еще претендовали на право называться мебелью, в принципе не могли найти места в квартире у Марка. Тем не менее выбросить их я не могла.

Марк предложил сделать дворовую распродажу, когда по дешевке, за символическую плату, люди продают соседям и просто прохожим незамысловатую утварь. Но я отказалась. Может быть, из снобизма, а может, с непривычки, но мне претило сидеть дурой во дворе среди родных, пахнущих домом вещей, да еще назначать за них цену. Взамен я предложила дать объявление в местной газете: «Отдам в добрую семью с детьми преданный и дружелюбный пуфик», чем, конечно же, вызвала у Марка улыбку.

Лишь на следующий день меня озарила счастливая мысль: я устрою прощальную вечеринку для своих, для русских, на которую сможет прийти любой, кто услышит о ней. Вечеринка будет, впрочем, с сюрпризом: каждый, кто захочет, сможет забрать две, но только две, наиболее понравившиеся вещи из моего дома – если что-то может в нем вообще понравиться, – за просто так, конечно.

Идея понравилась Марку. Он никогда не видел моих соотечественников в природных, так сказать, условиях, когда они не обращали бы на него внимания и не пытались вести себя тише и изысканнее, стараясь избегать политически некорректных высказываний, чтобы не сконфузить этого улыбчивого американчика. На моей же вечеринке он, наоборот, сам мог бы раствориться в людях, затеряться и не нарушать, таким образом, первозданный колорит русского общения.

Я позвонила Катке – наиболее для меня простой и доступный способ оповестить русскую общественность об ожидающейся халяве. На что она, выслушав мою идею, разумно заметила, что задуманная акция грозит неприятностями, что как бы соотечественники не пере-

дрались из-за какой-нибудь понравившейся супницы, и назвала мою затею провокацией для честных, но воинственных граждан.

– Да там и спорить не из-за чего. Я, наоборот, боюсь, что никто ничего брать не захочет.

– Наши-то? – с циничной смесью русофобии и антисемитизма, так болезненно свойственной уроженцам самой обширной страны независимо от их национальной принадлежности, сказала Катька. – Не волнуйся, подметут все – нравится не нравится, эстетические чувства роли не играют.

– Да кончай, Катька, перестань. Чего ты всех под одну гребенку, люди разные. Может, никому вообще ничего не нужно будет, – опять попыталась я.

– Не бойсь, набегут именно те, кому нужно. Нет, даже не так, – она нашла лучшую форму, – нужно им, не нужно, это они потом, дома разберутся. А у тебя в квартире состоится спортивное состязание – схватить ценнее и бежать скорее. Кто больше схватил и быстрее убежал, тот и победил. И потом, как ты будешь контролировать, сколько чего каждый нагреб? Не будешь же ты за ними ходить и лепетать: «Э, простите, это уже третья ваша вещь. Это вам не полагается, ну-ка, отдайте».

Я молчала.

– Я не знаю, – сказала примирительно Катька, почувствовав, что я расстроилась, – ты ведь хочешь нечто вроде прощального вечера устроить и раздать людям свои пожитки, чтобы они тебя как бы вспоминали, правильно? Ты ведь не хочешь базара из этого устраивать?

Она была права.

– Не хочу, – согласилась я.

Мы еще поболтали и решили, что все же мы позовем только знакомых, все равно наберется человек двадцать-тридцать. Вещи мы будем раздавать, как в лотерее, как когда-то в детстве, в первых классах школы, когда дарились подарки детям, у которых наступил день рождения. У нас, например, учительница вызывала какого-нибудь шалопая к доске, ставила спиной к подаркам и лицом к шеренге именинников, выстроенных тут же, и сама, держа в руке взятый наугад подарок, спрашивала: кому? А стоящий спиной называл имя очередного счастливого именинника. Такой подход был справедлив, а главное, педагогичен, даже Катька с этим согласилась. А мы ведь тоже хотели все сделать педагогично, вот потому и переняли опыт советской школы, впрочем, для несколько отличного контингента, да и при других обстоятельствах.

Мы назначили нашу раздаточную вечеринку на ближайшую субботу, и гости начали стекаться где-то к семи часам. Конечно, никакого стола не было, так, несколько упаковок пива, бутылки вина и ликера, бутерброды с колбасой и сыром, ну и прочая закуска из соседней кулинии.

Людей я в основном знала, хотя не всех, так как кто-то привел с собой либо нового ухажера, либо новую девочку, которых я раньше не видела, поскольку с тех пор, как познакомилась с Марком, отошла от русской светской жизни. Гости были в большинстве молодые, хотя попадались отдельные особи, как правило, мужского пола, лет сорока, забредшие со своими более молодыми напарницами.

Катька появилась с новым кавалером, который, непривычно сильно пожав мне руку, представился как Матвей – среднего роста, плотно сбитый, решительного вида, почти блондин, с веселым взглядом, лет тридцати. Он сразу стал шумно с кем-то спорить и потому особенно привлекал к себе внимание. Катька, по дружбе приехавшая на два часа раньше помогать мне готовить бутерброды, выглядела как никогда ослепительно. Она похудела, и теперь ее величественная фигура элегантно, даже провокационно вычерчивалась под плотно облегающим вечерним платьем.

– Как тебе новый-то мой? – спросила она, и вопрос этот, в принципе Катьке не свойственный, так как обычно чужое мнение ее мало интересовало, наводил на мысль о возможно серьезном ее отношении к «новому-то».

– Очень даже, – одобрила я не только из дипломатических соображений, а в основном из-за того, что, как мне показалось, присутствовало в нем что-то, какой-то сдержанный напор. – А сам-то он как? – по старой дружбе поинтересовалась я.

Катька не ответила, а только очень уверенно утвердительно кивнула, и рука ее, держащая стакан на уровне плотного живота, отделила однозначно обращенный вверх большой палец.

Я одобрительно подняла брови и посмотрела на Катькиного избранника как бы теперь в новой перспективе, заслуживающей дополнительного внимания.

– Злой он, – вдруг добавила Катька, когда я подумала, что обсуждение закончилось.

– Что это значит? – насторожилась я.

Катька посмотрела на меня с высоты своего роста и, как мне показалась, с высоты своего уникального знания и сказала чуть снисходительно:

– Это значит – кайф!

Я поразмышляла немного и решила не вдаваться в тонкости вопроса.

Подошел Миша, мы знали друг друга давно, с самого нашего американского младенчества. Он был один, в последнее время, когда я встречала его, он всегда был один. Когда-то он пытался ухаживать за Катькой, и, по-моему, у них даже что-то случилось разок-другой, точно не знаю, но в результате между ними выработались странные, почти патологически доверительные отношения.

Он был художником, и художником неплохим, сам он себя, как и все художники, считал гением, а иначе, как он говорил, «зачем вязаться с искусством». Порой его работы выставлялись в галереях, впрочем, не в самых известных, но в основном он занимался халтурой, делая иллюстрации к детским книжкам. Жил он скромно, или, если не бояться слов, просто бедно – видимо, иллюстрации хорошо не оплачивались, – но остроумно. Это была его фраза: «Я живу бедно, но остроумно», – говорил он.

Он действительно был остроумным, художник Миша, – не только знал прорву анекдотов, но и умел их смачно рассказывать, естественно присовокупляя к сюжету залетную матерщинку, но так интеллигентно, даже невинно, что это никого не смущало. Рассказывая всевозможные байки, смешно меняя голоса, он мог тут же с ходу выдумать новое продолжение, что присутствующей публикой ценилось особенно.

Катька как-то рассказала мне, что у него продолжительный роман с одной из его почитательниц, американкой вполне преклонного возраста, хорошо за пятьдесят, которую он, по понятным причинам, от всех скрывает. Катьке же на ее непонимающий вопрос он однажды сознался, что это полнейший «клевяк» и что он, закоренелый московский бабник, никогда в своей жизни ничего подобного себе представить не мог. Мы с Катькой долго обсуждали ситуацию, пытаясь разобраться, в чем же здесь «клевяк», но, так и не придумав, сошлись на мнении, что каждый, в конце концов, находит именно то, к чему стремится. А Катька еще и заподозрила, может быть, от подсознательной обиды, всяческие патологии в его характере и организме. Но все это был большой секрет, и поэтому я нарочно непосредственно спросила:

– Мишуля, ты чего один-то?

– Баб нет, – угрюмо ответил он. – Вы, девчонки, все разобраны.

– Ну, ладно, – перебила его Катька, – у тебя был шанс, когда мы, молоденькие тогда еще, скакали без присмотра.

– Чувствуешь, Марин, подруга твоя по-прежнему не может простить, что я этот шанс упустил, – подмигнул мне Миша. И я подумала, что он, наверное, прав, Катька и вправду ревнует его именно к этой пожилой любовнице. Ни к какой другой не ревновала бы, ни его,

ни кого другого, а вот таинственную почти старуху простить не может. Как все же загадочен и до зависти притягателен отход от стандарта, и насколько томительным становится он там, где прикасается к нему секс, подумала я.

– Не, бабы-то здесь имеются, в принципе они здесь тоже пасутся, – отглотнув пива из банки и медленно развивая тему, продолжил Миша. – В принципе их запросто даже возможно наблюдать в среде максимально приближенной к естественной, в машинах, например, катящих мимо. Реже в общественных местах, типа метро, совсем редко-на улице, хотя там они тоже, бывает, встречаются. Но водятся они в своих заповедных куцах, или гуцах, не знаю, как правильно, как бы автономно, без связи с реальным миром. Во всяком случае, с моим.

– Может, только с твоим? – зловердно спросила Катька.

Но Миша не отреагировал на выпад, он был расслаблен и почти меланхоличен.

– Дело даже не в мире, – поправился он, – в мир-то можно проникнуть, ползком, да хоть как. Дело скорее в том, что в этой чужеродной атмосфере иная, неведомая нам, система коммуникационных образов.

«Ему уже давно пора про образы, – подумала я. – Как же это, художник – и без образов!»

– Как бы это вам, девочки, объяснить, вы ведь никогда активность в съеме противоположных особей не проявляли, во всяком случае, внешнюю. Вам ведь ни к чему, вы как раз сами являетесь объектом активного съема. Так что не уверен, проникнетесь ли вы моей мужицкой заботой, или, иными словами, будет ли она вам вдомек.

Мне нравилось, как он говорил – как-то ностальгически, из юности, почти уже забытой в нынешней совсем другой жизни, очень по-московски, на московском, тоже уже размытом временем, сленге.

– Итак, о заботе, – продолжил он нестройную мысль. – Например, когда в большом российском городе, где проходило мое беспутное отрочество, я устремлялся к какой-нибудь телке, я уже без ошибки знал, что не промахнусь, что, по сути, уже подтвержден, что она мне не откажет. Как минимум в знакомстве. Уверенность же моя наглая бралась не с пустого места, а оттого, что, собственно, мы уже обо всем с клиентом договорились еще до того, как я подошел, мы все обсудили на обоим нам знакомом языке образов. Я посмотрел ей в глаза, она поймала взгляд и вернула его, по самому этому взгляду можно было многое, если не все, понять. Но если я хотел подстраховаться, оставались в запасе, – он опять отхлебнул пива, – улыбка, поднятые брови, наморщенный лоб, манера, например, поправить волосы, когда она уже знает, что ее выбрали. В общем, короче, тьма путей имелась в распоряжении образованной публики, да и не очень образованной тоже, просигнализировать либо об опасности, типа: «Ну ты, парень, лучше отхлынь, все равно пошлю», – или же, наоборот, подбодрить: «Чего медлишь, не бойсь, кудрявенький, не обижу». И ты верил ей, и она не обижала, ну, как правило. Да чего я вам, девки, рассказываю, вы все это сами не хуже меня знаете. Мастерство-то не пропаешь.

Катька согласно улыбнулась, ей все же нравился этот мальчик, не дискриминирующий женщин по возрасту.

– Так вот, здесь, я имею в виду тут, образы другие, они не соответствуют тем, которым мы обучены. Это не то что языковая преграда мешает, преграду-то можно преодолеть худо-бедно, сигануть через нее, тут дело хуже. Язык, казалось бы, тот же самый, все слова отлично присутствуют, только смысл у них различный, порой противоположный, вот в чем беда. Помните анекдот, где ребенок просит объяснить матерное слово, услышанное им, и ему говорят, чтобы прикрыть матерную неприличность, что оно является синонимом слова «отлично». И ребенок начинает фигачить одноэтажным без перебора в самых неподходящих местах, отчего все смеются. – Миша снова качественно приложился к банке. Мы с Катькой не отвлекали его, пауза в данном месте его рассказа как бы предполагалась.

– Так и здесь, – наконец-то вернулся он к нам, – ты вроде слово знаешь, используешь его, но означает оно совсем не то, что ты думаешь, вот только не смеется никто. Я помню,

когда я высадился отважным десантом на этой земле, – Миша оттопырил палец вниз, видимо, указывая, на какой именно земле, – я думал, что перетрахую здесь всех девок, так они на меня смотрели. Идешь, скажем, по улице, и, если даже случайно взглядишься ей в глаза, вы знаете, она отвечает взглядом самым нежным и самой лучистой улыбкой. В России такие взгляды, не говоря уже про улыбки, означали бы нижайшую, смиреннейшую просьбу: «Трахни меня, пожалуйста. Нет, не вечером, а прямо сейчас, не отходя». Как же должен был я, бывший студент архитектурного, бывший комсомолец, выбывший по возрасту, реагировать на этот наивный и трогательный призыв?

«Выбывший по возрасту» – это хорошо, это смешно, – подумала я.

– Я не мог не бросить спасательного фала своим американским землячкам. И подходил к ним, и заговаривал с ними в искреннем стремлении помочь. Я вообще всегда готов помочь, когда дело касается любви. Ну, о реакции я рассказывать не буду, вы сами понимаете. Она варьировалась: от долгих расспросов и желания одарить меня долларом, когда меня принимали за горемычного бездомного из России, до звонков в полицию тут же, по сотовому, когда баба все же проридалась через мою английскую белиберду или же по жестам догадывалась.

Я представила Мишу в качестве сексуального налетчика перед заскорузлыми, не склонными миндальничать полицейскими и засмеялась, засмеялась и Катька. Я осмотрела комнату: народ развлекал сам себя, сбившись в небольшие, но шумные кучки.

По количеству людей выделялась группа, где новая Каткина привязанность доминировала громким, поставленным голосом и азартным напором бывалого спорщика. Марк стоял у стены в неизменной своей расслабленной позе с бутылкой пива в руке и, улыбаясь, о чем-то беседовал со скорее Каткиной, чем моей, знакомой, которая взяла на себя благородное бремя развлекать этого симпатичного аборигена. Впрочем, подумала я, она наверняка и не считает это за бремя, скорее за возможность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.